

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 31

1987



Вячеслав ШУГАЕВ

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

ТРИ ЖЕНЩИНЫ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 31

Вячеслав ШУГАЕВ

ТРИ ЖЕНЩИНЫ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»

1987

Вячеслав ШУГАЕВ

Вячеслав Максимович Шугаев родился в 1938 году в городе Мензелинске Татарской АССР. Жил на Урале, в Свердловске, где работал на Уралмаше подручным расточника, а затем учился в Уральском университете, на факультете журналистики. Первая книга вышла в 1959 году в Свердловске. После университета долгие годы жил и работал в Иркутске, где и написал основные свои книги: «Беги и возвращаюсь», «Осень в Майске», «Деревня Добролет», «Арифметика любви», «Дождь на Радунницу» и другие.

Сейчас В. М. Шугаев живет в Москве.

ОЧЕРТАНИЯ РОДНЫХ ХОЛМОВ

Двадцать пять лет не был на родине. Говорю не с элегическим вздохом: ах, как годы летят, — а с трезвостью, не ищущей оправданий: ничто не принуждало меня придавать свиданию с Мензелинском черты юбилея. Приезжал из Иркутска в Москву, проматывал дни (увы, и не только их), дожидаясь издательских и журнальных приговоров, и порой в столичной мороке проклевывалось слабо и невзрачно: а может, слетать, может, пока суд да дело, приземлиться в Набережных Челнах, а от них до Мензелинска всего пятьдесят верст? Но этот робкий и участливый голосок легко глушился многоголосьем суеты. Как-нибудь потом, успею, нужно быть здесь — наши жизненные движения полны небрежения к ближним своим, приводящего впоследствии к некой неутешимости: и рад бы замолить былую черствость, да никому уже твои молитвы не нужны.

Мензелинск с отчим великодушием сам разыскал меня — написал товарищ детства: «Сколько же можно пропадать?» — и скоро ли, долго ли письмо заставило собраться, сесть в самолет, прикинуть к окошку, чтобы не проглядеть октябрьское, желтеющее пространство родины. О тучах и тумане даже не подумал — детство покоилось в солнечных днях с короткими слепыми дождями и, казалось, имело власть и над теперешним неустойчивым небом.

В самом деле, не вижу в детстве ненастья — лишь тихие солнечные вечера, летнюю дремотную необъятную благодать с муравчатым берегом Мензелы и парной водой Кучканки, розово-синий снег под заборами да курящиеся конские кругляши на спящих, раскатанных санями дорогах. Памятна, верно, одна гроза, да и то своим мрачным, грохочущим гнетом: ходили мы за дамбу, в орешник, возвращались пшеничным полем, где и настиг нас ливень с молниями и прижимающим к земле громом, и вот под «раскаты молодые» вдруг закричал Колёля Попов: «Ребя, выкидывай все железки! Железки молнии притягивают!» Полетели в потемневшую, прикишую пшеницу гайки, гвозди, перочинники и медные солдатские пуговицы, на которых держались наши послевоенные штаны. Путаюсь в них, судорожно подтягивая, добрались до Мензелы, спрятались под мостом, а прозрев и опомнившись, увидели, что на

Колелиных штанах пуговицы целы и сам он умирает со смеху. Мы шли по дамбе, подпоясавшись кто проволокой, кто соломенным жгутом; солнце уже сушило тесовые крыши Мензелинска, и окутан он был праздничным, дрожащим парком — вовсе не хочу надоедать многозначительной темой о безоблачном детстве, просто ведро тогда еще, видимо, не зависело так от окружающей среды и непогода не запоминалась так, как нынче.

В Набережных Челнах увижусь с Колёлей, Николаем Андреевичем Поповым, прокурором Мензелинска, отцом взрослого сына и дочери-школьницы (знаю об этом из писем), и тогда в полную меру пойму, что делают с нами годы; пока же у самолетного оконца тасую незатейливые и немногочисленные видения: мы за Мензелей в Дубовом колке, — спрятавшись за кустами, смотрим, как учатся стрелять допризывники, — показаться или приблизиться к ним нельзя, суровый военрук немедленно прогонит. Колёля с испуганно вытаращенными глазами ползет от соседнего куста: «Смотри, пуля как чиркнула!» В золотисто-льняном ежике промята темная дорожка. «Отползай надо, сматываться!» Мы по-рачьи пятимся, потом бежим до седьмого пота и, лишь отдышавшись, вспоминаем, что допризывники стреляли в другую сторону и пуля могла задеть Колёлины волосы, разве что совершив кругосветное путешествие... Идем в Байляры на речку Ик, по лесной тропе, и вдруг Колёля целится из рогатки в верхушку сосны, целится долго, тщательно, мы головы устали заирать. Колёля медленно опускает рогатку: «Эх, блин, улетел!» — «Кто, кто!» — «Да комару в глаз целился!» Почему мы его звали Колёлей? Может быть, озорной суффикс «ёл» передавал сущность его натуры, хотя о суффиксах тогда мы и понятия не имели.

У аэродромной ограды на морозном, солнечном октябрьском ветру шагнул навстречу матерый мужчина со строгим, резким подбородком и холодновато-голубыми глазами.

— Здравствуй, Коля! — Мы обнялись, детство проплыло над нами далеким-далеким эхом.

И совсем оно умолкло, когда руку протянул лысеющий, полнеющий мужчина — только по ярко-синим кротким глазам узнал Валерия Петрова, племянника Николая, однажды приехавшего в Мензелинск нежным, прелестно картавившим мальчиком, — мы, уличная жестокая безотцовщина, с неожиданным единодушием приветили его как могли, оберегали от синяков и шишек, а пуще всего от обиходного уличного мата, который так не соединялся с кроткими синими глазищами Валеры. Если все же он, не удержавшись от соблазна быть как все, выговаривал нечто непристойное розовыми, парными устами, мы отводили его на расправу к дяде, и Колёля грозно приказывал, складывая пальцы для щелчка: «Ну-ка, повтори, что сказал!» Теперь Валерий живет в Нижнекамске, стерлись черты ангельской безгрешности, так смягчавшие и умилявшие нас, но, как потом я узнал, осталось доброе сердце, сделавшее его хорошим врачом и человеком.

В стороне от наших объятий стоял человек со смуглым невозмутимым лицом; высокая покатость лба в каштановых кудрях, тень Азии на припухших скулах и темных губах. Видел его, помню, но кто он?..

— Не узнаешь? Гена Ащеулов.

Да, да, Гена Ащеулов, жил на Советской, наискосок от нас, когда мы квартировали у Сумзиных. Помню, во время какого-то уличного раздора он погнался за мной, запнулся, ахнулся в лужу и, приподнявшись в грязи, с неукротимой обидой и страстью кричал что-то вслед... Оказалось, он тоже живет в Нижнекамске. Я спросил, почему он уехал из Мензелинска.

— Из армии вернулся, решили с Галиной расписаться. А она уже институт закончила, невеста с высшим образованием. Я вроде как не пара ей — было такое настроение у ее родителей. Ну, мы, чтоб ничьи нервы не испытывать, взяли да уехали в Тольятти. И чуть было не вернулись. Ходим, ходим — никто на квартиру не пускает. На лавочке посидим, передохнем — и дальше в поход. Вижу, Галина еле держится, вот-вот и в слезы. Ладно, говорю, еще в этот дом поступимся, если не пустят, — назад. Стучусь, открывает старушка, впрочем, не такая уж и старушка была. И так сошлось, что сын ее тоже в чужих краях, у чужих людей живет. Пустила она нас. Пять лет в Тольятти прожили: днем я у станка, вечером высшее образование получаю. Получил диплом инженера, и засобирались с Галиной домой, да вот осели в Нижнекамске. Но в Мензелинске я каждую субботу бываю. Мать там, тещь с тещей. Вообще там.

Вот встретились и замешкались на ветру, не находя пока нужного тона, не зная, как это новое знакомство превратить в старое.

— Ладно, поехали. В Мензелинске баня топится.

Поехали. Засвистело, завывало за окнами, с неудобной силой и старательностью продувалось прикамское поле. Левее по берегу тянулись и никак не кончались Набережные Челны — складские постройки, заводы, трубы, какие-то резервуары.

Облик города сквозь них почти не проступал.

— Может, заглянем, — Николай махнул в сторону невидимых улиц и проспектов. — Замечательный город вырос. Проедемся, посмотришь.

— Чем же он замечателен?

— Новый, просторный, глаз не оторвешь.

— Так уж не оторвешь?

— Серьезно, чудесный город. Современный — бетон, стекло, мозаика...

С забавной, сиюминутной отстраненностью показалось, что начавшийся разговор повторяет расхожую ситуацию из какого-то расхожего романа: патриот своего края расхваливает свое болото, а проезжий скептик убеждает его, что это болото не самое лучшее.

— Согласен, Коля. Только не сегодня. Не терпится на Мензелинск взглянуть.

— Насмотришься еще. Там особых перемен нет.— И мы вздохнули: Николай, должно быть, с сожалением, а я, какось, с облегчением: не дай бог приехать на родину, а на ее месте — новый город, ставший родиной для кого-то.

В Мензелинск въезжали под мелким, неторопливым дождем, добавившим сумеречности (или призрачности) нашему свиданию. Я вглядывался в мокрые, темные дома; конечно, ни одно бревно в них не помнило меня, прочитывал вывески и плакаты, при слове «Мензелинск» еще и еще раз убеждаясь, что я в родном городе, в каждом прохожем искал и, казалось, видел знакомого, но не мог вспомнить ни имени, ни фамилии. А Николай не сомневался в моей памяти:

— А вон тот самый овраг.

— Какой тот самый?

— Где пещеры рыли.

— Что-то неглубокий стал.

— А тот дом узнаешь?

— Да-да, припоминаю... А вот и Нардом,— обрадовался я, узнав здание из красного кирпича и сразу вспомнив праздничное чувство, с каким мы кружили здесь в дни гастролей фокусника Абдулы или женщины-змеи.

— Теперь тут Татарский театр драмы. Между прочим, знаменитый — по всей стране ездит. Ну, приготовься, сворачиваем на Советскую.

На этой улице мы с матерью квартировали у Сумзиных. С Володей, их сыном, строили на задах огорода балаган, так сказать, для уединения и вечерних мальчишников — всласть поговорить, побаловаться табаком, печеной картошкой; напротив жили Елховы — большая, веселая, гостеприимная семья, в их дворе я пропадал и зимой и летом — витал там особый дух ребячьей вольности и выдумки; на этой улице старший брат выбрал себе жену; здесь, ближе к Лесной площади, у заборов всегда лежали сосновые бревна, на них мы и просиживали долгие летние вечера. На них я и запомнил на всю жизнь, как пахнет летний вечер в провинциальном городке: горячей смолой, остывшей пылью на лопухах у забора, парным молоком, медвянностью раскрывшихся табаков в палисадниках и свежим, полевым, розовым от заката покоем, нисходившим на нас вместе с вечером. По этой улице почему-то очень любили прогуливать парочки (так и говорили тогда: он гуляет с такой-то, она гуляет с таким-то,— подчеркивая этим глаголом невинность и начальность романов — всего лишь гуляют по улице), мы пугали застенчивых, деревянно идущих кавалеров внезапно хорovým мяуканьем и лаем, а порой и спалили от позора чересчур нагулявшегося — он устремлялся с дороги к нашим бревнам с каким-нибудь пустым вопросом: «Сеньки здесь нет?» — хотя Сенек на Советской не жил, — и тотчас же нырнул в лебеду

за бревнами, успев попросить сквозь сжатые зубы: «Пошуми, братва, погромче». Мы дружным хохотом заслоняли звучное журчание.

Теперь по улице бежали унылые октябрьские ручьи, дом Сумзиных принадлежал другим хозяевам. Юрка Елхов, наш румяный и рассудительный коновод, строил где-то железную дорогу, не было бревен у заборов — поредели мензелинские леса, — я узнавал и не узнавал Советскую, и это состояние «узнавания-неузнавания» будет преследовать меня в Мензелинске, будет являть неожиданно забытые лица, события, случаи и будет настойчиво приобщать к простой истине: прошлое всегда с нами, но черты его сквозь сегодняшний октябрь или, допустим, август утратили свежую, праздничную резкость, смягчились печально и буднично или, точнее, приобрели выражение устойчивой, неулыбчивой трезвости.

А вот и дом Николая, и над занавеской старчески внимательное, не узнающее лицо его матери — Марьи Николаевны.

Утром пошли с Николаем на кладбище — я надеялся разыскать могилу отца по приметам, сказанном матерью: «Сразу за церковью, под трем березами». Дождя не было — так, туманная морось без ветра, похожая на апрельскую, предпасхальную. Мы когда-то квартировали с матерью у сестер-монашек, наверное, последних в Мензелинске, этаких маленьких, чистеньких старушек, доживавших век без монастыря, в своем доме, и они таскали меня каждый день в церковь (запомнилось: весна, ветки вербы набухают серебряно на подоконниках) по такой же вот жидкой грязи, а чтобы не скучал и не канючил, набивали мои карманы профорами, которые сами и пекли.

— Коля, мы с тобой за сиренью на кладбище ходили? Помнишь, ночью, на спор, без фонарика?

— Нет. Может, с Юркой Елховым или с Вадьюшкой Барышниковым.

— С каким Вадьюшкой?

— Эвакуированный был из Ленинграда. Вы еще с ним путешествовать собирались. Сушеной моркови тогда набрали — и на трехколесном велосипеде. Один в седле, другой на запятках. До дамбы вроде докатили. Неужели не помнишь?

— Помню, помню... — неуверенно начал я. — Да, да, вспомнил!

Мать честная, конечно, я не забыл Вадьюшку Барышникова, но годы так странно и далеко отодвинули его, что вроде бы и забыл. В пятьдесят девятом я оказался в Ленинграде и разыскивал Вадьюшку. Заполнил у справочного киоска листок, где примерно называл Вадыкин возраст, не мог назвать отчества, не помнил, как звали-величали его мать, но зато точно указал место эвакуации. Мне дали адрес, теперь уже тоже забытый; помню двор колодцем, ржавый фонтанчик во дворе, темную широкую лестницу, старуху со смутным лицом, открывшую дверь и сказавшую, что он где-то в Сибири, при геологах, так и сказала — при геологах.

Отчаянный, без оглядки лезший в любую драку, он в то же время резко выделялся среди нас какой-то взрослой сметливостью и самостоятельностью (блокада проглядывала в нем вдруг старичком, но он никогда не говорил о ней), мы были с Вадькой не разлей вода. Как глубоко упрятала его память!

Наверное, с ним мы ходили ночью на кладбище. А подбил нас на этот поход Роберт, сын очередной квартирной хозяйки, красивый, гибкий, с персиковыми щеками подросток. Неприятны в нем были черные узкие усики, с какою-то порочной наглостью и резкостью охватившие свежую, пухлую губу. Роберт сидел на крыльце, томился скукой, бездельем, ожиданием золотых своих часов — вечернего гуляния в городском саду, где усики его сводили с ума девочек из фельдшерско-акушерской школы. Мы появились кстати.

«Эй, шкеты! А вот слабо вам на кладбище залезть? В двенадцать ночи. — Слово «полночь», видимо, показалось ему невыразительным. — На что хочешь спорим, не пойдете». — «А вот не слабо! А вот не слабо!»

Был майский жаркий день, куры дремали в пыли у амбара, и мы ничего не боялись в эту минуту.

«На что хочешь спорим, — повторил Роберт и лениво, презрительно ухмыльнулся — усики чуть перекосятся. — Сходите, неделю в кино буду проводить. Нет — по двенадцать коконек каждому».

Роберт показал выдвинутую из кулака загогулинку среднего пальца, им он будет бить по нашим лбам «коконьки», этикие усиленные, с потягом, щелчки. — «А как ты проверишь?» — «Принесете ветку сирени». — «Хоть две!»

До заката мы хорохорились: «Ну, Роба. Вся мелочь из копилки выгаскаешь! Девочкам на мороженое не останется». Мы знали, что у Роберта есть копилка, некая гипсовая фигурка с прорезью на темени, в нее он проталкивал личные, выигранные в орлянку (а он почему-то всегда выигрывал) и заработанные у матери — даром ведра воды в дом не приносил.

Стих закат за пожарной каланчой, небо заглохло до первой звезды, а мы вдруг припомнили: говорят, какие-то бродяги ночуют на кладбище — на днях там костер видели; говорят, вокруг костра и скелеты посиживают; говорят, кто-то бродит в полночь меж могил, стонет, плачет, а то заходит в дурном крике: «Живой крови хочу», — и вроде бы ноги от этого крика отнимаются. Мы, нервно посмеиваясь, храбрились друг перед другом: «Нас на крик не возьмешь».

На каланче пробило одиннадцать. По глухим улочкам, по остывшей ласковой пыли потащились мы к кладбищу, и хоть никто не кричал, не хохотал, не плакал, ноги наши уже отнимались. На выгоне перед кладбищем мы сели в траву, вглядываясь в тихую, вздыбившуюся тьму. «А там вовсе глаз выколи».

На каланче ударило полночь.

Если за оградой кто-то есть, он уже слышит, как угодливо перед

страхом колотятся наши сердца. Как собачьи хвосты по полу. За оградой — шепоты, шелесты, кто-то покашливает. «Смотри, что-то белое шевелится!» Мы замерли, как бы растаяли в легком туманце над выгоном — души наши без оглядки мчались к городским огонькам.

«Наверно, памятник...» — «Наверно...» — «Пошли?» — «Пошли».

Бесчувственные, с колокольным звоном в ушах перелезли через забор — я неловко прыгнул, попятился, ткнулся в деревянный крест, ухитрился не вскрикнуть, поднялся с мокрой, липкой травы. Нарочно громко спросил, вдруг до ломоты в теле устав бояться и чувствуя, как от громкого голоса становится легче: «А как же мы сирень-то найдем?» — «На ощупь. Или по запаху». Вытянув руки, задрал головы, брели мы меж могил. Хватались за кусты и, пригибая, шумно, с присвистом внюхивались. «Кажется, вот. Точно, вот».

Прохладные, устало пахнущие кисти коснулись щеки.

На бесшумных радостных крыльях перемахнули выгон, нырнули в теплую, безопасную уличную тьму и вынырнули под окнами Роберта. Осторожно, но все же не скрывая нетерпеливого торжества, побарабанили в раму — молчок. Еще раз, но уже по стеклу — дрогнули занавески, приникло чье-то лицо. «Роба, проспорил, выходи! Держи сирень!» И мы потыкали ветками в окно.

«Я вам постучу! Ну-ка пошли отсюда! Шпана сапожная!» — кричала мать Роберта, не открывая окна, но хорошо было слышно. Мы сползли с завалинки, посидели на лавочке у ворот — интересно, почему мы сапожная шпана? Может, спутала с братьями Харитоновыми, жившими от нас через три улицы, — у них в самом деле отец был сапожник.

«К тебе пойдем? Или ко мне?» Летом мы все спали в сараях, на сеновалах, в чуланах, а чтобы уже вовсе выбиться из-под материнского догляда, каждый вечер отпрашивались друг к другу ночевать — для приключений и походов были всегда готовы.

Роберт вышел к нам утром заспанный, злой, видимо, вернулся позже нас. Только усики чернели свежо и бодро. Повертел привядшие ветки сирени.

«Чем докажете, что они с кладбища?» — «Так мы ж договорились. Оттуда принести». — «А может, вы у школы наломали?» — «Ну правда, мы на кладбище были! На каланче пробило, и мы полезли». — «Вранье! У школы наломали, — Роберт оживился, приласкал пальцем усики, подбоченился — во всем своем праве и наглости. — Думать надо, когда спорите. — Он отбросил наши ветки. — Подставляйте лоб. Кто первый?» — «Роба, но мы же были!» Я уже понял, что ничего мы ему не докажем, он и спорил-то, предвкушая вот этот кураж. «Ага. Ты сегодня первый. Ну, где наш лобик?»

Я хотел ударить его головой в живот, но Роберт откачнулся в сторону, ухватил меня за шею, пригнул и швырнул с крыльца: «Большой стал, да?» Я схватился за камень, но Роберт снова опередил меня, выбил камень, больно крутнул уши — в бессильной ярости я хоть как-нибудь хо-

тел достать его: ногами, зубами — он, хладнокровно посмеиваясь, не подпускал меня...

— Коля, а ты помнишь этого Роберта?

— И про сирень не помню.

Николай слушал невнимательно, отвлекаясь на частые утренние «здравствуйте», с непрменными здесь именем-отчеством и замедлением шага.

— Скоро придем?

— Скоро. В любой конец ходу пятнадцать минут.

Да, конечно, скоро — узнаю бревенчатый дом на высоком фундаменте, и тополя у дома узнаю, и так радуюсь их непропавшей величавости, что чуть не бормочу нечто приветственно-сбивчивое, как при редких встречах с одноклассниками. В доме этом жила Света Ибатуллина, девочка со скудными косичками, челочкой, потаенными веснушками, нежно проступавшими лишь в минуты волнения, и серо-зелеными, очень серьезными глазами. Серый, зеленый, голубой цвет глаз вовсе не мой излюбленный, как можно вывести из этих страниц, а устойчивое проявление мензелинских кровей, так что и впредь от синевы в глазах земляков никуда не деться. В третьем или в четвертом классе нас посадили за одну парту, и, когда зазелен неизбежный схищный дискант: «Жених и невеста...» — Света, побледнев и враз опушившись веснушками, серьезно сказала: «Не обращай внимания на этого дурака». Я согласно покивал, потирая затылок, — кто-то вклеил из резинки туго скатанной бумажной пулькой.

Матери наши были хорошо знакомы, и мы со Светой часто виделись после школы. Порой среди чаепития или веселой болтовни мы вдруг затихали, поддаваясь странной стеснительности и какой-то радостной неловкости, должно быть, вмешивались в эти миги — уже без дневных ухмылок — «жених и невеста», а мы догадывались, смутно примерялись к избирающей, тревожной силе союза «и».

Давним июльским утром шел я к Свете в гости и у монастырской стены встретил двух незнакомых девчонок, тощеньких, с сияющими летними бликами на чистеньких лбах; запомнились взгляды девчонок, этикие холодно-пытливые, оценивающие. Услышал, разминувшись, как они заговорили с непривычной уху взрсллой, бойкой деловитостью: «Знаешь его?» — «Да это один к Светке ходит». — «Дружат, что ли?» — «Да так пока ходит».

Шел я в тени стены, остывший за ночь кирпич добавлял сырой прохлады, в прорези сандалий заплескивалась холодная роса, но звонкий девчоночий голосок: «Так пока ходит» — тотчас превратил росу в кипяток, утреннюю прохладу в полуденную жару, проломил невыговариваемую тайну — оказывается, она может обернуться прогулочным пересудом. Я пылающим шепотом повторял и повторял: «Ну началось, ну началось», — хотя решительно не представлял: что же началось?

Помнил, за Светиным домом возносился Горбушинский сад, все го-

ды видел его зеленое облако над длинным тальниковым плетнем, а за плетнем — Ивана Борисовича Сумзина, неутомимого мензелинского тельгрейке. Необычайно курносый, веселый, в выгоревшей бессрочной тельгрейке, он бесшумно возник перед тобой, хотя перелезал ты и прыгивал вкрадчивее кошки. Поднимешься из подзаборной полыни, а Иван Борисович уже беззвучно хохочет, словно заодно с тобой, и манит пальцем. Подойдешь, шепотом спросит: «Чем потчевать прикажешь?» Изнеможешь от навалившейся бессловесности, уставясь в рыжие сапоги Ивана Борисовича, а он тем временем быстрыми и легкими руками обрывает вишню, и только радужки змеятся на пальцах, на сизой окалине загара. И вот обе твои пригоршни полны теплой, пунцово-черной вишни, и внутри каждой ягоды чуть пульсирует, токает продолжающий движение сок. Спасибо не успеешь буркнуть сдавленным от стыда горлом, а Ивана Борисовича уже нет, растворился в вишеннике. Наверное, в саду росли и яблони, и груши, и сливы — не помню. Помню вишню, нежное ее, тихое, бело-розовое цветение, первый румянец на зеленых юных щечках, ее налившуюся покойную упругость, и всегда проходит под ее тугою листвою Иван Борисович в бессрочной тельгрейке.

А сторожа в Горбушинском саду были, как на подбор, злые, сухонькие старички, наделенные удивительной прытью: они азартно, без устали гонялись за нами, только мелькали меж деревьев их сморщенные личики, и, как выразился бы писатель романтического направления, читалась на них одна лишь страсть: догнать, поймать, наказать. Караулили они с ружьями, заряженными солью, под рукой у них всегда были заросли особой жалищей до костей крапивы. Не раз и не два отмачивали мы горячие задницы в вонючем пруду у салотопки...

— Коля, а где же Горбушинский сад?

— Вымерз. А вообще-то мимо идем. — Мы шли мимо каких-то строений. — Да, вымерз, а новый вырастить не собрались.

— А Иван Борисович как?

— Умер. Сразу после тех морозов. Считаю, вместе с садом. Ничего этого не видел. — Николай покосился на строения.

Но вот и кладбище, под шапкой мокрой желтизны. На тополях еще держались там-сям жесткие зеленые листья, вроде бы перенесенные с металлических венков. А березы желтели без изъянов, с ровною, утешительною сукой. Вот и церквушка — деревяшка — недавно крашенная, сине-охристая, с белыми наличниками. Она скромна, проста, без архитектурных затей, цепляющих взгляд, пожалуй, одна на несколько районов — по приходу и расходу: новая краска хоть и сообщала ей аккуратность, но аккуратность бедной, чистоплотной старушки — побираться не побирается, но и в скоромные дни постится.

Миновали ее — где же три березы, о которых говорила мать? Тучная кладбищенская почва подняла такие березищи, что за каждой может спрятаться церквушка. Считаю: пять, шесть, семь — мать, должно быть, не рассмотрела в тот день, что у могилы начинался березняк.

Ходим с Николаем меж берез, ворошим, разгребаем космы жухлой

травы, выцветшие добела траурные ленты, рыжую поминальную хвою, накопившуюся, точно в ельнике, угадываем по земляничным куртинам: тут была могила и тут, но неизвестно чья, может быть, и Максима Романовича Шугаева.

Николай говорит:

— Сорок лет все-таки. Никто не следил — как теперь разыщешь?

— Может, в конторе регистрируют? Помечают: когда, кто, на каком месте.

Возвращаемся к кладбищенским воротам, где в привратной избушке размещается печальная канцелярия. На двери замок, хотя, судя по вывеске, заведение должно быть открыто. Впрочем, могильное начальство может и опаздывать и задерживаться — служба такова, что невольно приучает к мысли: торопиться некуда. Дождаясь конторских, сходили на могилу Николаева отца: серебристая оградка, серебристая пирамидка, ухоженный бугорок со съжившимися астрами — клочок земли, материализующий память, единственный в нашем полном владении, и сколь усерден каждый из нас в этом землевладении, столь и богат.

— Как бы не забыть... Закажи в Москве керамический портрет. — Николай рукавом протирает стекло фотографии. — А то выгорит быстро. Бумага все-таки, ненадежно.

— Закажу.

Отец мой умер в феврале сорок первого: возвращался в метель из деревни, в санях его безжалостно просквозило, и началось, как тогда говорили, крупное воспаление легких. Фельдшер поставил ему банки, а делать этого — так утверждали вспоминавшие — ни в коем случае было нельзя. Банки-то, а точнее, невежество фельдшера и погубили отца. Вот если бы знать да вовремя отвести руку... Смерть же, как бы ни останавливали ее в своих мечтаниях, задолго до наших рыданий караулила отцовские сани и впрыгнула в них с ледяным повистом.

Говорят, незадолго до его смерти я от кого-то услышал загадку про календарь: помер, оставил номер, — мне было три года, и я замучил ею всех домашних, восторженно проверяя: так же они догадливы, как и я? На меня шикали, замахивались: «Не каркай» — тогда я бежал к отцовской постели и неутомимо звенел: «Ну, угадай! Только ты не угадал! Помер, оставил номер!» — а отец уже не мог говорить.

Не помню этого дня и отца совершенно не помню. Пороку, правда, брезжит видение: я сижу у отца на коленях, мы смотрим в окно на улицу, там скачут всадники с красными флагами — какой-то праздник, — за ними бегут мальчишки в новых рубашках... Пожалуй, видение это все же из какой-то чужой, книжной жизни, слишком оно отстранено от меня, лишено личных, что ли, красок — некий мальчик на коленях некого мужчины...

Знаю, он был высок, любил удить рыбу, любил граммофонную пе-

сенку «У самовара я и моя Маша», у него была доха из оленьего меха и рубашка с узким воротником, в круглых концах которого блестели запонки, — в этой рубашке отец существует на единственной фотографии, сделанной вскоре после свадьбы. И он и мать удерживают на лицах старательную парадность, какую-то напряженную безликость. Впрочем, глядя на взбугрившиеся надбровья, можно предположить, что отец был упрямым человеком, а глядя на большие, сильные губы, — что у него нервный, подверженный минуте норов. Но из моих, как когда-то говорили, физиогномических догадок не выведешь живого представления об отцовском характере, о его причудах и странностях.

Помню старого товарища отца — я прозвал его дядей Мимо. Он всегда приходил с конфетами или пряниками в кармане пиджака и всегда подставлял мне карман: «Ну-ка, ищи глубже». Однажды я попал рукой за отпоровшуюся подкладку и, нащупав конфеты, никак не мог их достать. Сколько ни совал руку — все мимо и мимо. Вот этот отцов товарищ сказал как-то, привычно хохотнув на мое «дядя Мимо пришел» (прозвище его очень смешило): «Максим Романыч, царство ему небесное, много чего мимо пропустил». Наверное, рассуждал я впоследствии, отец мог добиться большего, чем должность провинциального счетовода, наверное, сознавал возможность этого большего, но почему-то не стремился к нему или не мог пересилить каких-то обстоятельств, наверное, из-за неосуществленности испортился характер, стал рабом захолустья, таким мрачным уездным рыболовом, преферансистом, любителем горькой. Дядя Мимо охотно бы перекроил отцову судьбу на своем поминально-товарищеском суду, но и дяди Мимо давно нет.

Занятые жизнью, мать и брат не рассказывали об отце, а я не спрашивал. Не помнить и не иметь отца — почти непременное и как бы естественное условие детства моего поколения. Обод судьбы, так сказать, мы покатили по травянистым улочкам, уличное товарищество вытравляло из нас трусов, воображал, ябед, то есть мы воспитывали сами себя, не мучаясь безотцовщиной (чтобы мучиться, надо сравнить жизнь с отцом и без него), не ощущая сиротства (есть мать, она всегда на работе, есть товарищи, они всегда рядом — жизнь устроена ясно и просто: «Айда на речку, у мельницы язык пошел»), не горяя из-за нехваток (мать одна работает, денег в обрез — это мы знали тверже, чем дважды два), не завидуя более сытым и обутым. Ценились лихость, ловкость, смелость: вот бы научиться, как Комарик, уличный товарищ, по деревьям лазить.

В отрочестве и юности, когда, казалось бы, безотцовщина должна уязвлять взрослее и больше, она превратилась в некую анкетную данность вроде года рождения, — это отстранение от живой боли произошло долею из привычки писать в соответствующей графе: «Убит, умер», а долею из привычки обходиться без мужского присмотра, из раннего сознания, что мы сами с усами, сами себе отцы. И мы старательно защи-

щали свою, так сказать, сиротскую независимость, если вдруг возникала опасность новой мужской власти.

У меня ненадолго — на одну зиму — появился отчим, неприметный мужчина в синем диагональном кителе, в пальто из шинельного сукна, подбитом ватой, в ботах «прощай молодость». Ходил медленно, прищаркивающе — казалось, боязливо; говорил тихо, мало — казалось, осторожничает, чего-то недоговаривает; смеялся в белую большую ладонь — казалось, не смеется, прикашливает, потому и загоразливается. Только нос его имел смелость быть определенным, непрячущимся — большой, сизый, пористый. Отчим скорее всего был мягким и добрым человеком — помню, как он неловко и виновато сутулился за столом, смущенно взглядывая на меня и погмыкивая, когда мы оставались одни. Пытался разговорить меня, взять этакую доверительно-семейную ноту, но наткнулся на упорное и угрюмое молчание, на уставившиеся в клеенку глаза — я не хотел с ним общаться, не хотел его знать, не хотел даже замечать его появление в своей жизни. Он спрашивал, что я читаю, я молча показывал обложку, он совал трешницу на кино, я уворачивался от дающей руки, он звал в баню, я бурчал, что схожу с ребятами, — не нужен мне был отчим, не мог я пересилить чуждости к нему и отчаянного удивления: ну чего он ко мне пристал?!

Он был на войне артиллеристом, по его словам, работал на «катюше» и, когда выпивал, умещал свои фронтовые воспоминания в детски восторженный возглас: «А мы ему как дадим! Как дадим!» — с внезапной, мучительной слезой тянулся ко мне, желая, видимо, приласкать от полноты воспоминаний. Я, конечно, отодвигался, каменел, а он, промокая слезу согнутым указательным пальцем, вздыхал: «Эх ты! Эх ты!» Выпивал он часто, порой до тихого, беспомощного беспамящества. В одно хрусткое мартовское утро (я собирался в школу) он обнаружил, что потерял партбилет, — с таким позором он жить не мог и не стал жить...

Но вот и я достиг отцовых лет, и непамять о нем, незнание его обернулись душевным смущением, устойчивым ощущением вины перед прахом, перед утерянным клочком земли, до которого я так долго добирался.

Поехал однажды в заставленную декабрьскими сугробами деревню Новую Александровку, бывшую Арестовку, где родился отец и где я надеялся встретить родственников, помнивших его. Последняя родня, то ли двоюродная, то ли троюродная сестра отца давно перебралась в Краснодарский край, и дом ее занимал чужой человек. Походил по деревне, поспрашивал — никто не помнил отца: сверстники его погибли на войне или умерли от старости и болезней. Вернулся в бывший дом двоюродной своей или троюродной тетки, посидели немного с новой хозяйкой за пустым столом и холодным самоваром. Она сказала, разглаживая клеенку маленькой, сморщенной ладонью: «Вовремя не узнал, теперь не узнаешь». — «А когда вовремя-то было?» — «Как сердце уколело, так и примчался бы». — «Сейчас вот и закололо». — «Теперь не ради отца,

ради себя хлопчешь». — «То есть?» — «То есть стареешь, боишься, как бы и самому не затеряться. Так же вот забудут, да и вообще не спохватятся». — «Ну, я об этом не узнаю». — «А вина перед отцом останется. И все равно кому-то перейдет, кому-то нехорошо будет, что ты вовремя не спохватился». — «Что же выходит, и отец вовремя не спохватился и перед кем-то виноват? Может, тоже перед отцом своим или де-дом?» — «Еще как может быть».

Быстро и густо наваливались декабрьские сумерки, света хозяйка не зажигала, и я попрощался.

Появилось кладбищенское начальство — белощекий человек с черными суровыми бровями, в черном клеенчатом плаще. Пока он снимал замок, я спрашивал:

— Вы регистрируете, кто где похоронен?

— Смерть регистрируют в загсе, а мы обеспечиваем могилу, ограду, надгробие.

— И никаких записей не ведете? Номер участка, дата, фамилия?

— Мы не бюрократы.

— Значит, никто мне не скажет, где лежит человек, умерший в феврале сорок первого?

— У-у! Сорок с лишком. Даже думать нечего.

Ясно. Даже номера не оставил.

В Мензелинске живут две тетки по матери, Нина Ильинична и Ольга Ильинична. Зашел к тете Нине, в дом рядом с почтой, где она проработала лет тридцать.

Дверь отворила седая, сухая старушка, и, если бы не живо блестящие, насмешливые глаза, я не узнал бы тетю Нину, которую помнил черноволосой, вспыльчивой, резкой и, казалось, неугасимо красивой женщиной.

— Заходи, заходи. Я уж слышала, что ты приехал. Думаю, не обойдет тетку, вот кое-что припасла. Чайник сейчас включу.

— Я ведь тоже с книгами связалась. В кинотеатре перед сеансами торгую. Все не так скучно. Вот Жуковского три тома. Хочешь, бери.

— Костя на Алтае, Милка в Челнах медсестрой. Квартира есть, неплохо живет. Да, вдвоем с дочкой. Большая уже. Валерка со мной. У нефтяников работает. Их на две недели самолетом в Тюмень возят, а две недели дома. На вахте сейчас, — так коротко очерчивает тетя Нина судьбы своих детей, моих двоюродных братьев и сестры, с которыми прошло столько золотых летних дней на чердаке этого дома, где мы устраивали то палубу, то дом, свободный от житейских забот. Дни эти в моей памяти так обширны, что другая часть жизни моих братьев и сестры, вместившая Алтай, нефтепромыслы, будни больницы в Челнах,

кажется неправдоподобно сжатой и кургузой по сравнению со счастливой просторностью детских фантазий.

— Смотришь, что кровати много? А я студенток пускаю, когда Валерка на вахте.— В Мензелинске большое педучилище и сельскохозяйственный техникум.— Да нет, не чтоб веселее было, лишних рублей не бывает.

— Отца твоего я не хоронила, не жили мы тогда в Мензелинске... Вот что. Сколько ты здесь пробудешь? Ладно, завтра-послезавтра сбегаю к одному человеку— сколько его знаю, он все в могильщиках. Может, вспомнит, поможет. Зайди через два дня.

В темном коммунальном коридоре, куда выходит дверь тети Олиной комнаты, я сжег полкоробка спичек, прежде чем отыскал нужную. Подергал— закрыто. А за дверью чувствуется свет, слышится бодрое благогласие телевизора— может, дремлет тетя Оля. Постучал настойчивее. Услышал скорый топоток и певучий, нежный детский голосок:

— Бабушка меня закрыла. Она в магазин ушла. А вы мой дядя? А я Володечка. Ой, пожалуйста, не уходите. Бабушка, наверное, во дворе. Она просила не уходить. И я вас еще не видел.

Вспомнил, что тетя Оля живет с внуком, водит его во вспомогательную школу— Володечке трудно дается грамота, да и жизнь вообще трудно дается.

— Подожду, подожду,— успокоил я Володечку.— Сейчас увидимся.

Пришла тетя Оля, тоже принялась потчевать, тоже быстро расставила точки, так сказать, на карте своей жизни: Люба здесь, в Татарии, Олег в Якутии, Дима в Челнах, Люся в Бирске. Не забывают, навещают, а мы вот с Володечкой учимся.

Володечка, трогательно хрупкий и ласковый мальчик, все жался ко мне, напевал нежным голоском: «Я не боюсь в школу ходить и один оставаться не боюсь».

— Сразу наш дом нашел? Да-а, столько воды утекло, а я ни с места. Стою в военкомате на очереди. Как жене погибшего положена благоустроенная квартира. Строят только медленно.

— И я ведь на кладбище-то не была. Стряпала, столы для поминок накрывала. Что и помню о том дне, так то, что морозило очень сильно. С кладбища все очокавшиеся вернулись... Зайди перед отъездом, я тебе меду налью. Может, состряпаю что. Без подорожников какая дорога!

Володечка замер сусликом на пороге, серьезно смотрел, как я одеваюсь, серьезно протянул бледную горячую ладошку.

Утром по лужам перекатывался плотный, ветренный холод, срывающийся вместо дождя с низких белесо-серых туч. На бывалом, лихо обшарпанном «уазике» приехал Анатолий Гудосников.

— Ну что, охотнички? Тулурами запаслись?— Сам он был в толстой суконной куртке, болотных сапогах, с непокрытым, обильно посе-

девшим ежиком.— Утки, по радио передавали, зубом на зуб не попадают.

Анатолий невысок, сутул, худ, с глазами яркой, этакой нестерпимой синевы — я предупреждал, что куда от нее в Мензелинске не денешься. Может быть, гудошниковскую синеву уместно даже назвать жесточайшей или неукротимой — так соединяется с его характером эта горячая неистовость. Мальчишкой он был, по тогдашнему определению, большим выделялой, но выделялой рисковым и отчаянным. Положим, прыгаем мы с моста в Мензелу, прыгаем «солдатиком» — ногами вниз. Гудошников обязательно забирается повыше и обязательно махнет вниз головой и, если махнет неудачно (живот отобьет или ноги), тут же лезет еще выше — и снова головой вперед. Какой-нибудь мальчишка поднимется на его высоту: страшно, нет потягаться с Гудком? Примерится, потопчется на шершавой от ржавчины стальной пластине, поймет, что в коленках пока слабоват. Только попытается, скрючившись, удерживаясь руками за бортики арки, как слышит снизу: «Лучше прыгай, а то хуже будет». Гудок уже поднимается к мальчишке, и, если тот все же не соберется с духом, не прыгнет сам, Гудок обязательно столкнет его с высоты, как бы мальчишка ни визжал и как бы тесно ни прижимался к теплomu животу арки. Но если мальчишка прыгал, Гудок на миг застывал на новой высоте и снова летел — казалось, очень долго, и очень хотелось зажмуриться.

Любую детскую забаву — нырянье, рыбалку, катанье на лыжах — Анатолий превращал в состязание самолюбий; сколько синяков, ссадин, шишек набили мы, не в силах достичь его готовности к риску, сколько слез по щекам размазали, покорно зляя на его умение во что бы то ни стало возвыситься над нами... Густым раздражающим холодом насыщенная синева вдруг ударит тебя, и ты оттеснен, отодвинут, сброшен с лыжни, с тропы, с горы...

Он несколько лет жил в Сибири, и я думал при встрече: как многие, хлебнувшие ее просторов, Анатолий ударится в воспоминания, отмечая пунктирами ностальгических вздохов селения, берега, леса, где задерживала и радовала работа. Но он сказал:

— Про Сибирь давай не будем. Вот она у меня где. — Анатолий провел ладонью по густой седине ежика. — До нее сединки не было. Наломался я там, намыкался — вспоминать не хочу.

— Не хочешь, не надо. — Хоть Сибирь и населяют в основном люди с нором, но свой нор приходится придерживать, приводить в согласие с ее крутой волею, а Анатолий, видимо, все с моста прыгал, но в Сибири крутизны не выберешь, и, хоть сто раз на рожон лезь, в сто первый она заставит отступить...

Едем на Ик в ледяной, с тучами, припавшими к раскисшим полям, октябрьский день, а я вижу Ик в полуденном зное, с серебристо мле-

ющим по берегам тальником; прозрачная тяжесть пчелиного гуда, пригибающего высокие травы на лугах; ежевичники и малинники на глинистых обрывах, а под ними — налимьи заводи, жилища сонных, замшелых сомов и хватки раков. Вернее, едем на берег бывшего Ика — русла его уже не увидеть, луговых пространств больше нет, — накапливаются на них, застаиваются воды будущего Камского водохранилища, или, говоря романтическим языком, волны Камского рукотворного моря. Представляю, какую свинцовую зябкость отдает от воды, какую печалью светятся поникшие, полузатопленные тальники.

В третьем или четвертом классе я читал «Детские годы Багрова-внука» и радостно растерялся, когда дошел до сцены, где Сережа Багров с маменькой и отцом останавливаются на берегу Ика: «Вот это да! Про наш Ик в книжке написано! И давно уже написано!» С изумлением и некоторой ревностью я понял, что Ик мой, вроде бы как собственный Ик, при помощи этих страниц превратился в речку, принадлежащую многим, а потому речку удивительную, уж, конечно, не случайно замеченную, ведь не про каждую в книжке напечатано.

Я приносил «Детские годы» в школу, брал с собой в гости, читал соседям. Иван Михайлович Красильников, человек недоверчивый и насмешливый, достал очки, потянул книгу к себе: «Ну-ка, где здесь буквами-то Ик показан?» Прочитал не только сцену привала, но и дальше заглянул. «Был Ик да Ик, а тут, смотри, как все красиво. И про деревья в тумане сущую правду написал. Ты выучи-ка это до буковки да как стихи на вечерах читай. Ну, на утренниках, если вечеров нету».

Давно выучил, да давно не вспоминал, а теперь вот кстати. «При блеске как будто пылающей зари подъехали мы к первому мосту через Ик; вся урема и особенно река точно дымилась. Я не смел опустить стекла, которое поднял отец, шепотом сказав мне, что сырость вредна для матери; но и сквозь стекло я видел, что все деревья и оба моста были совершенно мокры, как будто от сильного дождя. Но как хорош был Ик! Легкий пар подымался от быстро текущих и местами завертывающихся струй его. Высокие деревья были до половины закутаны в туман. Как только поднялись мы на изволок, туман исчез и первый луч солнца проник почти сюда в карету...»

Спускаемся с Икской горы, приводившей раньше на весело скрипевший деревянный мост, а теперь тормовизм у насосной станции в виду затонувшего парохода (труба торчит да капитанский мостик) и вот этого вечного отныне осеннего половодья с редкими стогами на последних, не залитых пока луговых пригорках.

Потом плывем на лодке — утки поднимаются из-за каждого куста, но мы не стреляем: в лодке тесно, она угла и ненадежна, но от стесненного, рвущегося из нас азарта старенький мотор, кажется, стучит бойчее. Холодно, забнут руки и уши, мы ежимся, опускаемся в воротники и постепенно застываем от лютотного студеного ветра. Николай вдруг протягивает ружье своему сыну Вадику:

— Ну-ка, берись за приклад покрепче. Гнуть сейчас будем.

— Чего гнуть? — не понимает Вадик.

— Стволы. Чтоб из-за кустов стрелять.

Пытаемся улыбнуться, но губы свело, и странно видеть и чувствовать, что вместо улыбок на лицах у нас синие кривые гримасы.

Пристаем к желтой гряде временного острова и расходимся, сразу согрешившись в предвкушении вольного поиска и разящего взлета стволов.

Бреду вдоль стены луговой осоки, по щиколотку в воде, ружье закинул за спину — что-то не взлетают мои утки. День расходится: до солнца ветер еще не добрался, но самые тяжелые, жирные тучи разогнал, и день осветился предвестием солнца. Повеселели, позеленели бесконечные воды окрест меня, дальние ивы откликнулись тихо зажегшейся позолотой — соединялись на моих глазах не совсем исчезнувшие аксаковские картины с новым, затеянным его потомками пейзажем, нагоняя уныние неестественностью зрелища, невозможностью как-либо исправить его и жалким желанием спрятаться, уберечься от раздражительных размышлений, не оставляющих, так сказать, и на дне будущего моря.

Таким же мелководьем с равнодушным и неуместным плеском среди жаждущих цвести и плодоносить полей начинались Братское, Иркутское, Усть-Илимское водохранилища — я ходил по их дну, вспоминая брошенные листовничные боры, лесосеки, непомерные сосновые плоты, потом так и не всплывшие, черные многоверстные лужи на тучной илимской пашне, самой плодородной в Восточной Сибири...

Запоминал не для будущей горькой строки, не из склонности к праведнической риторике («Разве можно так с землей обходиться?!»), а из желания понять и совместить в себе молодой, удалой, с испариной азарта лик котлована, скажем, Братской ГЭС, сияние артельной праздничной истовости в глазах, когда каждый наперегонки норовил подсунуть свое плечо под любую тяжесть (то ощущение, может быть, самое дорогое из ощущений молодости), и сиротливые пространства, как будто никогда не растившие, не согревавшие, не утешавшие людей. Хотелось рассказывать о пьянящем трудолюбии котлована и с мимолетной стыдливостью хотелось отвернуться от илимской пашни: извини, по-другому ГЭС пока не научились строить, так надо — страдай не страдай. Пашни исчезли вроде бы бесследно и покорно: работайте, покоряйте, если так надо, — но постепенно выяснилось, что невозможно строить и разрушать одновременно, затопленные земли живут в нас; боль, причиненная им, воскресает в нас стыдом и растерянностью: как легко и бездумно мы с ними расстались, не попытались спасти их, выгородив дамбами и плотинами, не подозревая, что дешевизна строительства обернется неокупаемыми нравственными затратами.

Мы утешались неотвратимостью «надо» — оно как бы освобождало нас от раздумий и личной ответственности: действительно, надо перекрыть реку, пусть крутит турбины, без энергии не обживешь и не обустроишь тайгу; мы надеялись, что земля, подчинившись нашему «надо»,

не будет уже досаждать нашей совести, но по прошествии времени мы обнаруживаем, что Байкальский целлюлозный завод можно было не затевать. И в то же время мы выясняем, что Чебоксарское водохранилище разгородили дамбами и плотинами, сохранив пастбища, луга и пашни.

Надо, согласен, надо. Но почему каждое «надо» отзывается такой резкой болью, почему осуществленность, воплощенность этого «надо» не заслоняет, не примиряет меня с потерями — озерами, пашнями, лесами, определенными в жертву «надо»? Потому, видимо, что чем больше годовых колец я набираю, тем яснее: не спрятаться за всевозможные «нас не спрашивали», «меня не слышали», «а что я мог», не оправдаться никакими «надо», если плата за них окорачивает мое гражданское достоинство. Если даже меня не спрашивали, меня не слышали, все равно не отменяется мое огруженное от сомнений, несогласий, предположений сердце — в историческом протяжении, в сущности, и не бившееся, — и я отвечаю за каждое «надо», за каждую его трещину и кривизну. Пусть моя ответственность не учтена, пусть о ней никто не знает, но она существует параллельно с «надо», заставляет душу напрягаться и болеть...

Вот иду я, рядовой гражданин, по новорожденным волнам и изнываю от нелепого желания: набраться бы такого голоса, такой громкости и силы, что при крике «Не надо так!» воды бы непременно отступили. Понимаю, мое желание, мое «нет» легко глушится командорскими шагами экономики, которая, наверное, не может и не должна слышать отдельного чувства, отдельного голоса, сколь бы горек и трезв он ни был, тих и слаб, как шепот несчастного влюбленного, этот голос и, конечно же, пропадает в многоголосье державных забот и тревог — тем не менее тешишься надеждой: вдруг да услышат. Надежда эта неискоренима: в течение жизни много раз смиряешься с недолговечностью слова, с его какою-то призрачной судьбой: писалось, было, на чем-то настаивало — и постепенно сходило на нет, тонуло в житейском море, вроде бы никого не защитив и ни на чем не настояв. Но не могло же оно исчезнуть совсем, без следа и без шороха? Где-то остановилось, передыхает, набирается на привале свежести и полногласия — надежда быть услышанным вновь расправляет крылья, и легкий ветерок обдает тебя.

Когда-то я жил в лесничестве под Иркутском и рассказывал, как тяжел, неустроен, малооплачиваем труд таежных лесников; когда-то я часто бывал на Нижней Тунгуске и рассказывал, сколь несовершенно устройство нашего охотничьего дела. Рассказы эти и очерки ничего не изменили ни в жизни лесников, ни в жизни профессиональных охотников. Исчезли, растворились слова, которыми так хотел помочь, и, разумеется, я смирился с их исчезновением: я свое сказал, да и вообще, скоро только сказка сказывается... Но порой кажется, что и те, исчезнувшие, и эти, возникшие на дне моря, материализуются, объединяются в некую слитность, в некую самостоятельную существующую словесную реальность, предназначенную, может быть, всего для одного человека, который-то и поймет, услышит мои слова.

Часто вижу мальчика, худого, нескладного, неловкого. Веснушкам тесно на его вяло вздернутом носу. У мальчика большие темные глаза, неторопливо и сосредоточенно рассматривающие мир. Сизый дымок тревоги, ртутные блики недоумения, бархатная пыльца страха нет-нет да попадают в них. Тогда я спрашиваю, что с ним. «Почему люди так любят жаловаться?», «Почему говорят: на сердитых воду возят?», «Что такое судьба?» Старательно отвечаю ему, пускаясь в долгие рассуждения о слабостях человеческой природы, о неизбежности ошибок, и неожиданно вижу в его глазах откровенную, жалеюще-покровительственную усмешку — так обычно усмехается усталый экзаменатор, слушая запутавшегося, заговорившегося ученика. Поперхнувшись, спрашиваю: «Что-то не так? Не веришь?» — «Верю. Но непонятно как-то». — «Что непонятно?» Опять смущающая меня покровительственная усмешка: «Пока непонятно. Вырасту, пойму».

Понятно: пока он хочет спрашивать, но не хочет или не умеет отвечать.

Представил, что мальчик идет сейчас со мной по дну Камского моря, и, если бы думать при нем вслух, если бы при нем сопрягать экономику с нравственностью, он, уверен, засыпал бы вопросами: почему же не спасли луга при здоровом рассуждении? Почему же я все-таки не кричу, если мне так больно от этих волн? Почему жизнь учит смиряться и почему здравый смысл — понятие не экономическое? И наверное, опять бы усмехался, слушая мои степенные, исполненные благонамеренных надежд ответы.

Представил также, что отделившееся от меня, материализовавшееся в некую самостоятельную величину слово лет через двадцать встретится с мальчиком, ставшим мужчиной, ответственным жизнеустроителем, поправляющим наши ошибки и грехи со снисходительной жалеющей усмешкой. Вглядится он в нашедшую его страницу, прищурит темные, пристальные глаза — жаркий озноб ударит в затылок, когда я представлю это...

Почти из-под ног взметнулся селезень — задумался, видимо, тоже, не слышал моих шагов. Рванул ружье с плеча, ремень зацепился за пуговицу. Повел наконец стволом, селезень набирал уже лет — уйдет! уйдет! не торопись! — все-таки достал. Споткнулся мой селезень и упал в осоку. Бросился к нему: как бы не забился куда-нибудь в кочки — вот, вот он, прощально спрятал голову в воду, раскинул прихваченные изумрудно-малахитовым огнем крылья.

Выбрался на поляну, у почерневшей брошенной копны развел костерок — привалом надо было отметить трофей. Грел у огня руки и все поглядывал на зеленое перо, торчавшее из травы: может быть, мой селезень первым прилетел испробовать новую воду: глубока ли, сытна ли?

Костерок потрескивал так утешающе — встать не хотелось, и я решил подождать лодку здесь. А чтобы отвлечься от окрестной воды, холодного октября и охотничьего самодовольства, придумал забаву: буду

сочинять роман; прикину сюжет, героев, примерю драматическую пружину — да не просто роман, а желателно модный, соблазнительно модный, с НТР, чертами, демоническими страстями, — впрочем, нет, с чертами не буду — лучше в жанре утопии, в жанре преувеличения. Пожалуй, сначала надо придумать подзаголовок. Нечто вроде: роман с преувеличениями и утопическими картинками — и-да, что-то очень корявое... Роман-утопия с злободневными преувеличениями... Впрочем, подзаголовок придумаю потом, не надо отвлекаться.

Итак... В некоей российской области, может быть, Иркутской (хотя, угодная НТР, следует написать: в некоем территориально-производственном комплексе), жил молодой физик Мотовцев, изобретший в один прекрасный день странный прибор, который хотел сначала окрестить в свою честь «мотовмером», но застенялся и назвал — «чувствомер». Прибор этот, спрятанный в карман или сумочку (как авторучка, губная помада), отмечает уровень, силу общественного темперамента и помогает человеку проявить его. Предположим, человека мучает врожденная или благоприобретенная робость, заставляющая его поддакивать там, где надо говорить «нет», искательно улыбаться тому, кого надо брать за шиворот, и человек, ненавидя свою робость, не может тем не менее с ней расстаться. Но вот, снабженный «чувствомером», он начинает вести себя как должно: решительное «нет» — демагогу, отпор — хаму, не подавать руки приспособленцу, — разумеется, человек, слывший завидно смиренным, ходит теперь в синяках и шишках и «чувствомер» не дает ему вернуться к бывлой робости.

Одним словом, после долгих, порою драматических испытаний «чувствомер», а с ним и Мотовцев получают в Иркутской области широкую, с долей скандальности, известность, и часть заводов и строек будет бороться за повсеместное применение «чувствомера», чтобы каждый знал наполнение своего гражданского пульса — от вахтера до директора. Конечно же, будут у прибора и враги, тайные и явные, но все как на подбор умные и решительные. И вот однажды соперник Мотовцева в научной и личной жизни, некто Тупарев, начинает злобную интригу...

— Так и знал, что спит! — Лодка уже раздвигала осоку, Анатолий прыгнул на берег, залил из черпака костерок. — Залезай быстрей. Сейчас стрелков ловить будем.

— Какой тут сон в такой ветер? Разве что наяву. — Я неловко шагнул в лодку, поскользнулся на мокрой доске, чуть не ухнул в осоку. (Это Мотовцев меня не отпускал: «Что же ты? Только придумал и уже бросаешь!») На прощание подумал: можно было назвать «Опыты Мотовцева», хотя... поиграли — и будет. Еще один ненаписанный роман остался за плечами. — Постой, постой! Кого мы будем ловить?

- Стрелков. Ты спал и не слышал, какую пальбу они открыли.
- Ну и что? Охота.
- По выстрелам слышу — браконьеры. Бестолково палили.
- Да уж. Будут браконьеры бестолково палить.

— Хорошо, уточняю: начинающие браконьеры.

Сквозь осоку, тальники, по бесчисленным протокам зашепила наша лодочка — старый мотор вроде бы заработал чище и мощнее, возможно, передалось ему нетерпеливое напряжение Анатолия, сурово сжавшегося на носу.

Увидели на крутой длинной гряде двоих в одинаковых зеленых телогрейках, в кожаных зимних шапках, сдвинутых на затылок, — должно быть, на одном складе одевались. Парни были рыжие, румяные — приятно посмотреть. Анатолий, щуплый, дохлый, взлетел на бугор, сунул под потные, весело блестящие носы книжечку общественного инспектора.

— Билеты. Путевки... Как нет?! — Резко, цепко ухватился за стволы новеньких тулок, скомандовал: — Ружья сдать!

Парни действительно были новичками — с растерянными, глупыми улыбками выпустили ружья из красных куваддистых кулаков. Анатолий передал ружья нам, вытащил из старой пилотской планшетки (помо-ему, в школу еще с ней ходил) лист бумаги для протокола. Лихо он развернулся. Молодец. И планшетку сохранил, и порох, так сказать, детства не отсырел, и на рожон не разучился лезть — стрелки могли оказаться и не такими покладистыми...

Собрались с Николаем в Елабугу. До нее, если царственно соединять ее на карте с Мензелинском, шестьдесят с гаком, час-полтора езды.

— Точно. За два доедем, — пообещал Николай. Поехали на его прорурском «Москвиче».

Был опять белесый ветреный день, а когда вырывалось солнце, в полях и березовых колках прибывало нежной, доверчивой желтизны. По нижней эстакаде Камской ГЭС, еще заваленной строительным мусором, переехали на правый берег Камы и попали в просторный сосновый бор.

— Пройдемся, — предложил Николай.

Пошли по песчаной дороге, на обочинах в редкой траве было много засохшей земляники. Ветер отстал еще на берегу, не смея нарушить тишину, установленную в бору от века: в ней должна храниться хвойная, целостная, смолистая сила сосны.

— Скоро в доме Шишкина будем, — говорил Николай. — Помнишь, как посмеивались над ним? «Утро в сосновом лесу», «Корабельная роща» — в каждой, мол, чайной висят, в каждой захоластной гостинице. Дурной, мол, вкус, вроде базарных лебедей на клеенке...

Иван Иванович Шишкин родился в Елабуге, здешним борам обязан настойчивой, пылкой любовью к сосне: он без усталы писал ее, без усталы восхищался ее каким-то живительно домашним совершенством — как иные живописцы всю жизнь завидно верны женской красоте, так Шишкин был верен красоте сосны, в сущности, превратил сосну в символ русского леса, его свежей вечнозеленой мощи.

Николай сорвал сухую земляничину, растер в пальцах, понюхал.

— Гостиничные копии, может, и бездарны, но какая в нем все-таки сила, если вся Россия хотела его в красный угол поместить. Хоть пло-

хонькую копию, но в красный угол. Вообще, современнейший художник... Вот, смотри, как химия дышит.— Ветви, обращенные в сторону Нижнекамского нефтехимического комбината, заметно пожелтели.— Если так дело дальше пойдет, корабельные роцци и сосновые полдни только у Шишкина и останутся.

Чисто, тихо, уютно в доме Шишкина. Поскрипывают некрашенные выскобленные половицы; конторки, комоды, сундуки приобщают к незатейливому быту Ивана Ивановича; сосны, пруды, глухие российские мостики, написанные маслом, карандашом,— к непомерному живописному его усердию.

— У вас всегда так тихо?— спросил я у смотрительницы, этакой елабужской юницы, длиннокосой, сероглазой, задумчиво-серьезной.

— Летом с утра до вечера народ. Полы не успеваем мыть.— Смотрительница скучала и потому предложила:— Хотите, покажу любимый вид Ивана Ивановича?— Она подвела нас к окну.— Вот здесь он подолгу сиживал.

На многие версты простиралась камская пойма во вспененном багрянце тальников, в ясной зелени сосновых боров. Разумеется, при Иване Ивановиче не было на горизонте высоких черных труб с жадно струящимся пламенем— этиакие свечи цивилизации над шишкинской далью.

Неожиданно то ли во дворе, то ли на улице взялся за марш духовой оркестр— мы вздрогнули, отодвинулись от любимого окна Ивана Ивановича. Смотрительница объяснила:

— Это в школе милиции. И вальсы будут играть.— Она быстро и горячо покраснела, забыв о нас, побежала на другую половину дома, видимо, к своему любимому окну, откуда открывается вид на милицейскую школу.— «О, эти марши полковые!»

Под их бодрую грусть поднимались мы в гору к городскому кладбищу.

Могила Марины Ивановны Цветаевой устроена под тремя соснами, у самого склона— купола церковей, зеленые крыши бывших купеческих особняков о два и три этажа, россыпь деревянных улочек и переулков, выходящих в луга к Каме,— такая немереная воля, с ветром и птицами, начинается за могильной цепью! Должно быть, ей покойно здесь, по соседству с этой волей,— быть только рядом с ней и могла согласиться ее неистовая душа.

Позже нашли дом на кривой горбатой улочке, постояли напротив его опрятных, недавно вымытых окон. Никто не выглянул, не вышел, но жизнь в доме слышалась: вот отодвинули стул, вот звякнула крышка чайника, вот заговорил телевизор. Бревенчатый, крепкий, до странности обыкновенный дом. На этой вот лужайке, под этими вот тополями и ветлами, она, возможно, выкурила прощальную самокрутку из махорочной пыли, нервными щепотями собранной по карманам. Старая, высохшая, с желтым костистым лицом, в нелепом длинном платье из крашеной мешковины, она смотрела на августовский день и устало, привыч-

но мучилась пустотой: в ней не было больше слов, они не принуждали ее жить дальше... Слова ушли, и надо было уходить ей. Да и никому не нужны ее слова. Человек, называвшийся другом, брат, чей дар так близок ей, отвернулся от ее горького, нищенского взгляда; коллеги, укрепившиеся в Чистополе, не пустили ее даже на порог — она приехала в Елабугу, все более смущаясь своей ненужностью. А сын ее, красивый, талантливый, самовлюбленный мальчик, не смог простить ей этого отвержения, этой поникшей седой головы, так гордо, непобедимо вскинутой в былых их несчастьях. Замолчал, заледенел, с презрительной вежливостью отстранил протянутую руку...

Я не судья ни другу, ни коллегам, ни сыну, но почему и через сорок с лишком лет над глухой елабужской улицей висит тяжелая, плотная тень той вины и обиды? Она давит и на мои плечи, и сколько ни пытаюсь выпрямиться, освободиться от нее, не получается. Проклятая, не моя, но вряд ли отпустит. Неси, стыдись, казнись, ибо такова твоя роль в давнем сражении возвышенного с низким.

В минувшее воскресенье был День учителя, и могила засыпана астрами, хризантемами, георгинами, гроздьями рябины — судя по запискам, приложенным к букетам, приходили девочки из педучилища. «Мы тебя любим, Марина. Оля и Таня», «Примите наш поклон, Марина. 3-й курс», «Мы всегда с тобой. К. Н.». Девочек, этих праздничных легкокрылых бабочек, потянуло к пламени костра, оставленного Цветаевой. Обжечь, опалить душу в огненном всплеске страсти, проникнуться ненавистью ее к многоликой пошлости, склонить голову перед волшебной прихотливостью ее голоса и грозной озонной свежестью слова... День учителя, день Цветаевой, день мятежному духу ее.

Перед отъездом зашел к тете Нине.

— Что, нашла своего знакомого?

— Не помнит. Я, говорит, гору перекопал, одна лопата в глазах мелькает. Странный он стал какой-то.

— Неужели никакой зацепки больше?

— Ты когда уезжаешь?

— Сегодня.

— Попробую поспрашиваю у бывших соседей. Что узнаю, напишу. Когда теперь увидимся?

— Весной. Земля обсохнет, травы не будет. Вдруг да найду.

— Приедешь, не забывай старуху.

— Ну что ты, право...

ТРИ ЖЕНЩИНЫ

Три женщины поддерживали жизнь этого просторного гулкого дома. Старшая — Татьяна Захаровна — была легкой, бестелесной старушкой, морщинистой, с седыми бородавками, с седым пухом на голове, но

из этих морщин, из этих седин с удивительной живостью выступали пристальные, молодые, темные глаза. У нее осталась и цепкая, пристальная память. Вдруг говорила внучке, Елене Сергеевне:

— Это мы сейчас стали череповчане. А раньше говорилось: черепане. Даже поговорка была: «Черепане — ежики, а в карманах — ножики».

— Разбойничий, значит, город был? — спрашивала Елена Сергеевна.

— Не-ет. В основном смирно жили. Скорее, коварный. Ежи — удивительно коварные, мстительные существа.

— Не может быть!

— Сколько раз я тебя учила: не верь сказкам, а верь жизни. Не фантазиям, а научным данным.

— И правда коварный?

— Любили в конфуз ввести... Впрочем, не чаще, наверное, чем в любом другом. Все поговорки — либо от самомнения, либо от сознания ущербности.

Когда-то Татьяна Захаровна была учительницей, вела ботанику и географию, хорошо говорила по-немецки, пела в благотворительных концертах (однажды она вспомнила при Елене Сергеевне, что девушкой пела в пользу русских воинов, отравленных газами в пятнадцатом году, у Елены Сергеевны колко ознобило виски от стремительного погружения в такую давность), но эти проявления личности Татьяны Захаровны прочно заслонились долгой старостью, ветерком в полах фланелевого халата, в котором летала по дому Татьяна Захаровна, стирая, подметая, готовя завтраки и обеды, настойчивым шипением слова «баушка», оно ползло от дисканта к басу, от внучки к дочери и зятю.

По вторникам Татьяна Захаровна надевала черное платье из тонкого сукна, отделанное тускло-золотистыми вологодскими кружевами, черную велюровую шляпку с темно-синей лентой и, смотря, что было за порогом — зима или лето, — надевала повибитую котиковую шубу или пальто из коричневого плюша и со смущенно потупленной головой шла на спевку в церковь Воскресения, где пела в хоре. Смущенно потуплялась Татьяна Захаровна не потому, что верила из-под полы или не всерьез, а потому, что долгие годы боялась скомпрометировать свою религиозность зятя, строительного начальника и человека партийного, хотя он никогда ни словом, ни взглядом не высказал Татьяне Захаровне недовольства. Зять давно умер, а смущение при сборах в церковь осталось. И Елена Сергеевна порой шутила, обнимая Татьяну Захаровну и нарочно перевирая Блока: «Бабушка пела в церковном хоре о всех ушедших в чужие края. Как ты на воробьяходишь, милая бабушка! Как я тебя люблю!»

Дочь ее Людмила Глебовна, из хрупкой, изящной блондинки превратилась в рыхлую, болезненную женщину, в сущности, в старуху, но жизнь в соседстве с матерью позволила ей сохранить две-три капризные нотки в голосе и некоторую (неуместную, конечно) девическую избалованность в жестах и манерах. Порой она морщила дряблые губы этаким

увядшим бантиком и говорила матери: «Ну, пожалуйста, не корми меня этой противной овсянкой! Придумай что-нибудь съедобное!» Вдруг, забыв о возрасте и весе, этак порхающе передвигалась по дому, напевая, округло, плавно возносила руки, но недолго — ни дыхания, ни сердечной силы уже не было. Впрочем, склонность к девическому поведению поощрялась в большей степени не соседством с матерью, а поздним замужеством.

Ей было за тридцать, когда она вышла замуж, вышла за старого холостяка, но не из законченных эгоистов и деспотов, а из стеснительных, добрых, снисходительных. Он плохо и мало знал женщин, поэтому заповдалое сюсюканье Людмилы Глебовны, ее романтические преувеличения при виде какой-нибудь лужайки во время загородной прогулки, ее восторженная, житейская непрактичность (пошла покупать себе туфли, подходящих не нашла, тогда купила в комиссионном обшарпанную китайскую ширму и долго умилялась ею, не зная, куда приспособить) — в муже ее любые девические улыбки, умильности вызывали если и не всегда радость, то сочувственное внимание всегда, равно как и молчаливое, ласковое согласие.

Муж ее был молчаливым, работающим (его домами в Череповце заставлена не одна улица, да и их родовой дом он снабдил современным комфортом), а потому очень занятым человеком и в течение семейной жизни не входил, полагаясь на Людмилу Глебовну. И ей так нравилось пребывать в затянувшемся медовом мороке, что лишь через семь лет после свадьбы она надумала рожать.

Но несправедливо выставлять Людмилу Глебовну только сюсюкающей, восторженной старой девой, удачно вышедшей замуж, — нет и нет. Она была добра, искренна, жалостлива, ее дружно любили, с долею, верно, снисходительного юмора, мальчики и девочки из старших классов, где она вела литературу. Людмила Глебовна не потеряла свежести восприятия многожды читанных книг и страниц. Скажем, судьба Лизы Калитиной каждый раз отзывалась в ней искренним изумлением и воодушевлением, а заключительные строки «Дамы с собачкой» она не могла читать без слез печального восторга. Чувствами своими, рожденными чтением, она охотно и горячо делилась с учениками, за что и была ими любима.

До замужества она подумывала о заочной аспирантуре, где занялась бы жизнью и творчеством писателей-народников, связанных с Вологодчиной. Она восхищалась их самозабвенным заступничеством за маленького человека, которому, как говаривала Людмила Глебовна, жилось на белом свете не веселее, чем на вечной каторге. Кроме того, и неказистая личная жизнь писателей-народников занимала ее чувствительное сердце. Но замужество, безоблачное семейное небо, рождение Лены отвлекли от аспирантуры, да и от горьких судеб писателей-народников. Лишь иногда Людмила Глебовна рассказывала о них, если просило общество «Знание».

Леночка стала учительницей музыки, Еленой Сергеевной, юной женщиной с насмешливыми черными глазами, живым блеском и пристальностью напоминавшими бабушкины, чуть картавящей, чуть заикающейся, — скорее даже, запинаящейся на начальных слогах, что придавало особую, пожалуй, раздражающую выразительность ее речи. Была в Елене Сергеевне незначительная пока, произошедшая от безмятежно устроенной жизни полнота, этакая уютная домашняя полнота.

Жизнь Елены Сергеевны проходила в холе и неге, среди романтического — сквозь слезу и восторг — обожания матери и сердечного потакания отца всем ее прихотям, поползновениям и причудам — легко было превратиться в избалованную, чрезмерно сытую и чрезмерно довольную собой женщину, но, к счастью, возобладало влияние бабушки, и Елене Сергеевне передались ее житейская трезвость, способность посмеиваться не только над окружающими, но и над собой, склонность к строгим нравственным оценкам и боязнь пустых разговоров, громко-гласных изъятий чувств, когда слышится больше междометий, чем проявления сердца.

После смерти отца Елена Сергеевна превратилась в главную женщину дома, Татьяна Захаровна стала еще беспомощнее, хлопотливее и легче, ее, как пушинку, как голубиное перо, парящее в воздухе, вдруг прикрепляло к стулу или дивану, и сморщенными ручками, как лапка-ми, она отгоняла Елену Сергеевну:

— Пустяки, иди к матери. Я просто завихряюсь, перехожу в другое измерение. Но удастся вернуться. Так что овсянку в ближайшие дни буди варить тебе я. Иди к матери.

В черном костюме, в черном газовом шарфе, тщательно причесанная, Людмила Глебовна без усталости мерила комнату, словно готовилась принимать соблезнования сослуживцев и знакомых покойного мужа. Она протоптала тропинку на ковре от пианино к тахте: на пианино стояла большая фотография мужа, на тахте раскиданы номера городской газеты с некрологом и портретом. Сцепив руки на груди, с сухими, невидящими глазами, с безумным румянцем на щеках, Людмила Глебовна бормотала: «Какой человек был, кого мы лишились! Сережа, Сереженька, какой же ты у меня красивый», — и припадала скорбящими руками к фотографическому портрету на пианино. Елена Сергеевна обнимала мать, останавливала, пыталась уложить ее, а сама думала: «Неужели она не чувствует, как пошлость убивает горе. Как разменивает его на какие-то сценки. Так пусто стало, так страшно, и вдруг это пошлое безумие с портретами».

— Мамочка, давай посидим, моя хорошая. Хочешь, я поиграю. Мамочка, прошу тебя...

Прошли черные дни, но тень от них осталась, и никогда уже Людмила Глебовна не выберется из-под этой вялой, но лунатически цепкой руки. Людмила Глебовна теперь начинала любой частный разговор странной хвастливой горечью: «Не знаю, как мы смогли пережить. Вы

не представляете, как меня скрутило! Света белого не хотела. О, это не пересказать!»

Отрезанная горем от недавнего счастья, от недавней сердечной беззаботности, Людмила Глебовна обнаружила в себе расчетливость и умение холодно прогнозировать ближайшие семейные хлопоты. Она сказала дочери:

— Ты теперь — главная в доме. Чтобы в нем была жизнь, зависит только от тебя. Все надежды этого дома только на тебя. И наши с бабушкой — тоже. Ты должна выйти замуж.

— Как интересно-о! Наверное, ты прочишь меня за контрабас. Роман с контрабасом. Других мужчин в школе нет.

— Леночка, милая. Надо искать. Тебе скоро тридцать, а ты нигде не хочешь бывать. Дом без мужских рук угаснет. Неужели ты хочешь этого?

Елена Сергеевна любила свой дом, его гулкие сосновые стены — летом они нежно, томно, как бы нехотя сквозь размягчившуюся, разомлевшую смолу принимали голоса Шексны, заречных лугов, ропот берез на близкой Соборной горке, и тогда Елену Сергеевну тянуло к Скрябину, зимой — скрипы, гулы больших снегов и морозов, посвисты хохлатых, розовых свиристелей — Елена Сергеевна удивлялась, как она могла так долго не садиться за Грига, и она, конечно же, всей душой хотела, чтобы дом жил, так же жадно воспринимал звуки.

— Где же мне бывать? На хоккее? По воскресеньям пиво пить? С табличкой по Советской пройти — «вищу мужа»?

— Не сердись, умница моя. И не груби. Существуют всевозможные вечера, лыжные прогулки, походы — надо общаться.

— И авось подцеплю суженого, ненаглядного.

— Твои замужние подруги уже смотрят на тебя как на старую деву. Впрочем... Может быть, ты хочешь подцепить чужого мужа?

— Мои замужние подруги завидуют мне. Слышала бы ты, как они кланут свою семейную жизнь! Бесконечные жалобы: скучно, тошно. Кухня да постель — вот радости-то!

— Жалуются, потому что есть на кого. А тыхватишься — одна во всем доме.

— Ну времена! Одни совмещения: ты и невеста, ты и сваха, ты и надежда дома сего. Бабушка, а ты что молчишь? Тоже за женихом погонишь?

Татьяна Захаровна потрясла сухим кулачком возле уха, словно хотела послушать, как звенят, перекатываются еще не сказанные слова, но вот разжала кулачок, ладошкой махнула на Елену Сергеевну.

— Обещаю тебе пережить всех кавказских старух. Поэтому с женихом я могу подождать. Бог с ним. О тебе скажу. Тебе пора замуж. Иначе ты будешь жить с двумя старухами. Экий ледяной вариант. Я бы сразу застрелилась. Старушечьи платья, старушечьи ужимки, старушечья болтовня... Елена, на что ты себя обрекаешь?!

— Мама! Не городи оскорбительной ерунды! — Людмила Глебовна рассердилась. Нахмуренная, с поджатыми губами, со съжившимся подбородком, она очень походила сейчас на Татьяну Захаровну, плоти, правда, было побольше, морщины были еще не столь часты и мелки, и не согревали их живым блеском глаза — у Людмилы Глебовны голубизна глаз переходила теперь в белесость. «И я в моих старушек пойду, и у меня так же щеки затрясутся», — вроде бы снисходительно и шутливо подумала Елена Сергеевна и тут же испугалась очевидной неприглядности, может быть, и далеких, но предстоящих дней.

Ночью Елена Сергеевна не спала, слушала, как за стенами налаживаются, гнездятся ноябрьские холода, бесснежные, с закаменевшей серой землей, с тусклым острозубым льдом в канавах и черными, пыльными воронками по берегу Шексны. Сосновые бревна отзывались на ноябрьскую стужу дружным звоном — набирали в грудь отваги и согласия защищать трех женщин от зимних ветров. Елена Сергеевна представила затерянность, малость своего дома среди ноябрьского ночного странства и поняла, как тяжело его стенам хранить тепло, как долго служил он хозяевам без единой червоточинки и как легко ему стать щелястым, негостеприимным, с подслеповатыми, стылыми окнами. Елена Сергеевна села в постели от прилива любви к дому, вины перед ним за свое иждивенчество, и добавлялась еще в этот ночной час горечь, что она — старая дева, надо искать мужа — ненужность и унижительность этого занятия так не соединялись с добротой стен, с привычностью уюта и покоя, что Елена Сергеевна впервые ощутила сухую колкость и бесильную бодрость бессонницы.

Вскоре в городе был День лектора, и по его расписанию Людмила Глебовна попала к строителям пятой домны. Домой вернулась в волнении, с неостывшими пятнами на щеках, с красной монтажной каской в руке — сначала устроила ее на подзеркальный столик, не понравилось; сунула на шкаф, показалось неуважительно, остановилась на оленьих рогах, хоть доля нелепости и была в этом распоряжении Людмилы Глебовны, но и почта для каски было много, и необычности — красная пластмасса на оленьих рогах — всегда заметишь и всегда вспомнишь о внимательных к лектору строителях. Елене Сергеевне показалось, что мать нарочно так долго и так привередливо устраивает каску, чтобы не так выпукло воспринимались при этом слова Людмилы Глебовны, не так нервно и не с тою безусловностью, с какою бы они звучали, вывали она их грудой, без пауз и разряжения.

— Очень боялась, что мои народники никому не будут интересны. Рассказываю с некоторой пустотой в груди — думаю, вот сейчас перешептываться начнут, отвлекутся. Но, смотрю, слушают, и слушают внимательно. А я рассказываю, какие неподкупные, какие принципиальные были народники, как ради идеи могли погрешить против художественной правды... И думаете, какой вопрос был мне задан? Ни за что не угадаете! Почему начальник цеха служебную машину использует как лич-

ную. Видите, как они трансформируют честность народников, как продают ее и в наш день?

— И что ты ответила? — спросила Елена Сергеевна.

— Потому, говорю, что вы позволяете ему это делать. — Людмила Глебовна горделиво подбоченилась. — Впрочем, говорю, если он здесь, давайте ему все и выскажем.

— А они что?

— Нет его, говорят. На машине куда-то укатил.

— А ты?

— Руками развела. Они мне похлопали и каску подарили.

— И ты, конечно, ее примерила, и опять раздались аплодисменты.

— Перестань. И тут ко мне подходит молодой человек и спрашивает...

— Позвольте вас проводить.

— Как не стыдно, Лена! Все, кстати, очень серьезно. И спрашивает: вам что-нибудь говорит фамилия Хрустов? Я — ему: Петя! Он засмеялся: как вы сразу узнали. Он очень похож на мать. Я с ней дружила, они здешние, коренные. Потом уехали, он вернулся один, к бабушке. Мастером теперь устроился. Видел тебя на улице, но, говорит, постеснялся подойти. Вы с ним в садик вместе ходили...

— Не помню никакого Петю Хрустова. По-моему, ты его на улице встретила, а День лектора в его честь устроила.

— У тебя очень игривое настроение. Думай как хочешь. Но я его пригласила. Между прочим, он знает, что ты преподаешь музыку. Я бы, говорит, с удовольствием брал уроки.

— Слышала американский анекдот про ковбоя, который слишком много знал..

Пришел Петр Хрустов и протянул Елене Сергеевне зеленый куст, похожий на куст крапивы.

— Что за зелень, детсадовский приятель? — Елена Сергеевна ни одной знакомой черты не видела в этом резком лице: кустистые, широкие брови, крупный, тяжелый нос, большой лоб с серьезными залысынами, — и... как называть этого угрюмого человека? — Добрый вечер.

— Бабушкина герань. Незаметно отчекрыжил, пока бабушки дома не было. — Улыбка у него нерешительная, приятно освещающая тяжелое лицо.

— Бедная бабушка. Старалась, растила, поливала каждый день.

— Простит. Не мог я без цветов прийти. А ты меня совсем не узнаешь?

— Как ни всматриваюсь.

— У нас с тобой шкафчики рядом были. У тебя — морковка нарисована, у меня — томат.

— Морковку помню... Кстати, почему «томат»?
— А как надо?
— Помидорина. Помидорка. Помидор.
— Ты поправляй. Я часто заговариваюсь. Да! Ты любила спорить. Всем предлагала: давай спорить! Я однажды спросил: как это спорить? А ты: говори, что трава красная, а я буду говорить, что она синяя. Выйдет спор.

— Я и сейчас люблю спорить. Кажется, вспомнила... Во всяком случае, мне приятно, что ты это помнишь. Здравствуй, Петя.

Потом появились мать и бабушка, конечно же, сторовшие от нетерпения узнать: где и что Хрустов-отец, Хрустова-мать, как они все трогательно дружили домами, вместе пельмени стряпали на всю зиму, вместе на масленицу катались, такие балы-маскарады устраивали! А теперь город большой стал — старожилы потерялись среди приезжих, старинные знакомства сами по себе рухнули, и как хорошо, что объявился Петр Хрустов, свой, коренной, из хорошей череповецкой фамилии, может быть, хоть как-то воспринут былые времена!

— В лото играть не будем. И пельмени на всю зиму стряпать тоже не будем.— Елена Сергеевна заявляла это в прихожей, где все они собрались проводить Петра Хрустова.— Не из черствости так говорю, а потому что с мясом плохо.

— Спасибо за гостеприимство. Спасибо вашему дому.— Петр мял шапку, сонно тарачился на женщин — без вина опьянел от непривычных разговоров, от насмешливых, прекрасных глаз Елены Сергеевны.— Я так рад, что он на месте. Никуда не делся.

— Что-то мама говорила про уроки музыки?— Елена Сергеевна, прощаясь уже, протягивала руку.

— Это я так сболтнул. Для значительности.— Петр нерешительно улыбнулся: — Чтoб тебя заинтересовать. А на самом деле — тугое у меня ухо. Не для музыки.

Мать и бабушка тоже улыбнулись.

— Просто так приходи, Петя, без музыки.

— Спасибо. А я как раз хотел спросить: можно — нет еще-то зайти?

— Можно, можно.

Позже Елена Сергеевна по вечерней, учительской привычке подводила черту под прошедшим днем — поморщилась, глядя на куст герани: что-то хамское было в его появлении, рос, рос, живой, большой, красивый, и вдруг грубый человек, желая сверкнуть широтой натуры, срезал его, оставил пустой горшок с сиротским маленьким пенечком. Но, признавала в то же время Елена Сергеевна, есть в Петре и приятное простодушие, есть неуклюжая цельность и — позволяющая принимать его — естественность.

Впечатления Петра Хрустова были много короче: «Девонька славная. Кусачая».

Он опять пришел. Чуть не с порога Елена Сергеевна предложила:

— Давай спорить.

— О чем?
— О жизни.
— Из меня, наверное, плохой спорщик получится. Я к вечеру квелистый становлюсь. Накричусь за день, набегаюсь, в основном молчать охота.

— Значит, работали у тебя ноги и горло. Голова не устала. Давай спорить.

— Хорошо, давай. Ставь условия, как в детсаде.

— У нас есть Соборная горка. На ней церковь Воскресения, памятник павшим за Советскую власть и березовая роща с видом на Шексну. Таким образом, на Соборной горке живут: Вера (пусть не наша, пусть не нужная, пусть всего лишь олицетворяет свободу совести, но все равно — Вера), Память и Красота. Согласен? Хорошо. Ты строишь домну. Назовем ее Железной горкой. Много металла, много разных судеб вокруг него. Железная горка олицетворяет необходимость, производственную нужду, а потому не несет с собой ни красоты, ни памяти. И никаких духовных ценностей. Спорим, что Железная горка по всем статьям уступает Соборной?

— Спорим. Вокруг Железной горки вырос целый город, благоустроенный, уютный. Люди, живущие в нем, не тратят времени на дрова, на колодцы, то есть на сопротивление житейским неудобствам. И у них появляется больше времени, чтобы ходить на ту же Соборную горку. Присоединяться к памяти и красоте.

— Ага! Попался. Правильно — у Железной горки подсобная роль. Чтобы обслужить Соборную. Создать нормальные условия для жизни. Благоустроить ее. Хотя... Как ни странно, житейский комфорт — противник Соборной горки. Комфорт сам становится каким-то центром, идолом, вокруг которого суетится человек, начисто забывая о Соборной горке.

— Подожди, Леночка. Отвлечемся пока от житейской пользы, приносимой Железной горкой. Мы построили Дворец металлургов, где, говоря твоими словами, будет торжествовать дух. Всевозможные кружки, секции, и как там: твори, выдумывай, пробуй.

— Помилуй. Какой дух? Это всего-навсего будут занятия в часы досуга. Человеку некуда время девать, вот он идет в кружки кройки и шитья, в танцкласс, в инструментальный ансамбль. Опять-таки одна польза и никакой красоты.

— А вдруг в кружке пения или в литературном кружке со временем обнаружится гений. Часы досуга превратятся в красоту.

— Это будет прекрасным исключением. Железная горка — средство для прокорма, для нормального быта и досуга. Ты знаешь, как ее превратить в духовную ценность?

— Не знаю. Но послушай. Железную горку строят пять тысяч человек. Она соединяет их в такое сообщество, в такое товарищество, о ко-

тором многие будут вспоминать и на старости лет с нежностью. Разве это не духовная ценность?

— Допустим. И сообщество, и товарищество существуют. Вы помогаете друг другу, оставаясь на вторые и третьи смены, выручаете друг друга из разных авралов и досрочных сдач. И это говорит, что вы — хорошие, нормальные люди, с товарищескими отношениями внутри работы. Но почему я не ощущаю созданную вами духовную ценность? Не чувствую токов вашего товарищества и вашего рабочего бескорыстия? Эта ценность внутри вас, внутри вашего сообщества! А Соборная горка — бесспорная ценность для всех. Я вхожу под ее березы и, уверяю тебя, думаю не о сверхплановых процентах. Я думаю о своей судьбе и как она не согласуется с этим покоем над горкой. Почему?

— Лена, сдаюсь. Ты — спорщица со стажем, с опытом. Напряжение не для меня. Уже в глазах двоится.

— Как некрасиво, Петр Хрустов, признаваться, что устал думать.

— Что поделаешь, Леночка...

Елена Сергеевна подвела черту и под этим днем: не умеет, а может быть, не любит Петр Хрустов думать, заслоняется от этого занятия усталостью, расхожей житейской мудростью: главное — о деле думать, а о жизни — необязательно. И спорить совсем не может, а мог бы ее урезонить: кое в чем были, были у нее уязвимые построения. Про товарищество он здраво говорил и с сердцем. Молодец.

Петр Хрустов подумал перед тем, как провалиться в сон: «Времени у нее свободного много. Вот и раздумывает. Дети ей нужны, заботы».

Ходили в кино, подолгу гуляли, но чаще сидели в ее комнате, сумерничали под пианино и негромкие разговоры.

— Правда, что ваша домна — самая большая в мире?

— Правда.

— А правда, что самая последняя в мире? И, еще не построенная, уже устарела?

— Почти правда. Вон ветряки. Казалось бы, для фильмов о Дон-Кихоте остались. А сейчас к ветрякам, к принципу, точнее, ветряков во всем мире возвращаются. Домна устарела, но много пользы и выгоды, так тобой ненавидимых, сопутствуют ее существованию.

— Какое у тебя главное желание?

— В жизни?

— Разумеется.

— Много работать, вырастить кучу детей, по воскресеньям ездить на подледный лов. А потом — в баньку, под веник. И после баньки — четвертинку.

— Шутишь, Петр Хрустов?

— Торопливо рассказываю. Сидишь над лункой, а так радостно присутствовать в мире. Вряд ли это объяснишь.

— Все же попробуй.

— Лен, а ты вот все с духом носишься. Надо жить духом, надо думать о духе... Как это?

— Всегда быть недовольным собой. И сомневающимся. Сделал, сказал, чего-то достиг — немедленно усомнись. Так ли сделал, так ли сказал.

— Н-да-а... А я почти всегда собой доволен. Работаю старательно, устаю, ближнему зла не желаю. В чем тут сомневаться?

— Если не думать, то ни в чем. Все и так хорошо.

— Лен, может, нам соединить Соборную горку с Железной?

— Подождем немного. Вдруг нельзя соединить. А мы начнем крушить, ломать, так сказать, изо всех сил соединяя.

— Лен, можно я тебя поцелую?

— Рано. Как говорит моя подруга, мало гуляем.

— Врет твоя подруга. С детского сада гуляем.

— Морковка с томатом не в счет, Петр Хрустов.

— А сколько надо гулять, чтобы поцеловаться?

— Не меньше трех недель.

— Значит, к Новому году?

— Примерно.

Опять была подведена черта: «Как он ужасно сопит, будто все время спит. Говоришь ему, а он все время спит. И, похоже, считает меня старой девой, которая стерпит, так сказать, от ухажера все. Поэтому говорит одни глупости».

Петр Хрустов решительно приказал себе: «Пора на штурм».

Сидели перед Новым годом, клеили елочные цепи и фонарики — выдумка Людмилы Глебовны, долженствующая, по ее мнению, сблизить по-домашнему Петю и Леночку. Выглянула с кухни Татьяна Захаровна, позвала ужинать:

— Милости прошу. Рыба такая золотистая получилась...

Петр, не отрываясь от фонарика, вздохнул:

— А я не люблю рыбу. И никогда не ем.

Татьяна Захаровна и Людмила Глебовна растерянно переглянулись, нервно всхотнула Елена Сергеевна:

— Вот и я всегда говорю: отстаньте со своей рыбой. Мойва какая-нибудь.

Петр Хрустов тряхнул головой:

— Что-нибудь сморозил, да? Это у меня очень просто выходит.

— Скажи, пожалуйста, могу я тебя называть — Петруша? — Голос у Елены Сергеевны язвительно зазвенел. — Давно уже хочется, но все не осмеливалась.

— Пожалуйста. Очень приятно даже.

— Петруша, уже поздний вечер, ты устал.

— Засиделся, даже не замечаю ничего. Извините.

В дверях Елена Сергеевна сказала ему:

— Давай отдохнем друг от друга. Извини, но я пока не хочу тебя видеть.

— Лен, что я такого ляпнул? Что случилось?

— Петруша, прощай. Запомни: умные люди не выясняют отношений. Давай пока не видеться. Хорошо?

Она зашла на кухню, где подавленно молчали мать и бабушка.

— Не надо меня больше сватать. И дело не в том, что он не пара мне. Может, такие только на роду и написаны. Но я не хочу получать кусты герани! Я не хочу, чтобы рядом со мной сопели!

Она подождала, не возразит ли мать или бабушка. Мать молчала, у бабушки насмешливо заблестели глаза, но она удержалась, опустила покорно голову.

— Хочу, чтоб голова кружилась, чтоб сердце замирало от его голоса, чтоб тайна была, а не расчет. Нежности, счастья, роз, а не танцев для тех, кому за тридцать! Красоты хочу! А не пользы! Вы слышите! Кра-со-ты!..

Новый год Елена Сергеевна встречала в пригородной деревне, у замужней подруги. Ночью они катались в санях, и Елена Сергеевна рассказывала потом, смеясь, как на дорожном раскате ее выкинуло в сугроб — «это было замечательно».

В зимние каникулы она часто ходила на Соборную горку и возвращалась опущенная инеем, в ярком, счастливом румянце, — встречные замедляли шаги и улыбались: все же не убывает радости, свежих, веселых скрипов, волнующих заиндевших ресниц в нашей долгой, милой русской зиме.

РУССКАЯ ВЕНЕРА

Женщин он боялся и не верил им. В отрочестве видел, как старший брат — матрос, полярник, рыжий веселый грубиян — колотился головой о столешницу и криком кричал: его тихая, добрая, нежноголосая Зоенька ушла к другому, построив кооперативную квартиру на северные деньги своего «любимого пиратика» — так она называла брата.

Затем он ждал брата у пивных и закусовых, где тот сосредоточенно, молча выгонял горе и, одеревенев, выходил к своему поводырю. Брат ухватывал костлявое, отроческое плечо, и размытые слова противились сквозь черные губы:

— Стороной, Тимоха... Баб стороной... За сто верст и лесом.

Не скоро вспомнил Тимофей беспамятный наказ брата — отвлекали розовые, глуповатые, исчезающие, как мыльные пузыри, годочки. Вот уже и в солдаты собрался, и в заветном блокнотике с адресами хранится, сияет свежим глянцем фотографическая карточка Наташи. Размашива-

стые черные брови, бархатная ласковая мгла в глазах, нежно запавшие щеки, и даже при черно-белой фотокарточке угадывался алый, упругий, обжигающий вырез губ — их жжение, их неутомимую солоноватость Тимофей ни на секунду не забывал. Как пелось в песне: ни на марше, ни в бою. А ночью Наташины губы мучили еще и таинственными словами: «Утомлением не насытишься». Он просил Наташу письменно развязать их.

«Чего же проще, — отвечала Наташа. — Сердце к сердцу рвется. Уж я так тебя жду, что фоточку твою достану и прижму к губам — вот откуда сны-то. Смотришь ли ты на меня? Старушка одна через знакомых общила, что слово «утомление», во сне услышанное, показывает твою непривычность к разлуке, плохо ты ее переносишь. И мне она противопоказана. Жду. Фоточка твоя передо мной. Целую крепко, крепко».

Отслужил, вернулся, припал к ее губам. Остужая их, нагоняя ветерок быстрой ладошкой, Наташа говорила:

— Ох, Тима, Тимуля. Не бережешь подругу. Впереди «горько» ждет. Да и потом пригодятся.

— А мы — экономно, а мы — вприглядку, — снова тянулся к ней.

Свадьба подкатила уже к самому порогу, и среди радостной бестолковщины, бетгни подкараулила Тимофея загадочная Наташина подруга — имени ее он помнить не хотел — и участливым, густым мальчишеским говорком сказала:

— У Натки в деревне девчонка растет. Ты бы съездил. А то поздно будет. Ты не простишь, она изведется — никакой жизни не будет. Жалко вас, лучше заранее все знать.

— Кто растет?!

— Ольгуня. Наткина дочка.

— Какая деревня?

— В Поливанихе, у Наткиной бабушки. Да ты знаешь. Я ведь хорошо помню, как вы туда ездили. Накануне армии. Помню, как она хвалилась... Сено, говорит, на повети душистое было.

— Какая дочка?!

— Наткина, говорю. Год с месяцем ей...

— Ты что лезешь?! Подруга называется. Зараза ты загадочная!

— Невесте всех зараз повесь. Эх, Тимофей Негудыкович. Из-за тебя теперь с Наткой конец, а он еще позорит...

Он не ответил, со скрежетом и хрустом повернулось в груди вдруг появившееся зубчатое колесо, перемяло там все, измельчило в какую-то дурную, белую взвесь, и от ее тошнотных всплесков одолевало непонятное двумордое хотение: то ли хныкать, причитать тоненьким, жалобным голоском, то ли хихикать — тоже тоненько, рассыпчато, безвольно.

Подталкиваемый этим хныканьем-хихиканьем, поехал в Поливаниху, посмотрел на крохотную льяню Олыгуню. Она заполняла избу нежным, звонким, бессловесным пока лепетанием. Порхал голубой бант над желтыми широкими половицами — Ольгуня, смеясь, утыкалась

в ситцевый подол бабушки или в жесткую, новую холстину Тимофеевых джинсов.

Ольгуне надоело бегать, она притихла у его ноги, прижалась. Тимофей замер, налился неловкостью: так боязно было разжать ее кукольные, цепкие ладошки.

Старуха, уверенная, что его прислала Наташа, умильно ахала:

— Как она к тебе льнет! Сразу признала! А так, кто зайдет, пугается, прячется. Не любит чужих.

Он виновато, с рвущимся сердцем подхватил Ольгуню, подкинул ее: «Кто это у нас летать умеет, а?» — тпрукнул губами в оголившийся животишко. Ольгуня опять смеялась, опять звенело, нежно билось ее горлышко. Тимофей со «счастливо вам» поклонился старухе и хотел сразу за порог, но та притянула по-родственному, обняла, коснулась прокуренной бородавчатой щекой: «Ну, до скорого! И тебе счастливо».

— Вот что ты дергаешься! Не мальчик ведь! — говорила ему вечером мать, когда он собирал чемодан. — Подумаешь, невидаль — девка дитя прижила. Сердце у тебя разбилось. Отвернись и забудь. Куда вот ты собрался?

— Куда глаза глядят. — Тимофей уверил себя, убедил больное, дрожащее нутро, что легче ему станет в поезде — только ехать, только долой, только б душу отпустило. — Не могу. И, главное, смеется, кольца меряет. Будто так и надо. Эх!

Тимофей вспомнил старшего брата, и проняло его вполне диким желанием поколотиться о столешню. Мать насмешливо морщила губы:

— Из-за чего квасишься-то? Если любишь, с такой живи, а пересилить не можешь, отойди. Зачем бежать-то? Ей, верно, и самой грех не в радость. Но не переправишь же!

— Да ты что! Ей грех не в радость, а мне, значит, в самый раз. Сучью жизнь понимать не хочу. И слышать не хочу! И видеть! Столько сердца извел — никогда ей не прощу!

— Ну-ну, — сказала мать. — Съезди, проветрился. Посмотри на обыкновенную жизнь, может, научишься попреками не размахивать.

— Какие попреки! Душа не держит!

— Давай, давай, говорю. Никто тебя не держит. Рада буду, если выездишь что.

Много позже, всерьез помыкавшись по свету и кое-что поняв, Тимофей обнаружил: он хорошо помнит Ольгунины волосы, их мягкое русое тепло, голубой бант, на котором она, казалось, летала по избе, толстые конопатые щечки ее и нежное лепетание. Так живо, так неудаленно прижималась она к его колену, что он с неожиданной для себя, какую-то свежей досадой подумал: «Напрасно я от нее отказался. Как она смеялась, как ладошки растопырила, когда подкинул ее! Чужая, своя — ей-то что до этого. Она мне обрадовалась. И льнула, льнула! Все

от меня зависело». Он и Наташу вспомнил однажды спокойно: «А вдруг только она и может стать моей женой? А я судьбу поправил, обиделся, видите ли, на судьбу. Мог бы, мог от Ольгуни не отказываться».

Но сквозь взошедшую в нем с годами мягкость все-таки проступало ухмылочное, трезво-горькое: «Неужели два года было трудно подождать? Даже меньше, в отпуск-то я приезжал. И письма аккуратно писала. Непонятно, когда голова у нее закружилась». Опять поддался давней обиде, занепог вспоминая, поспешил отгородиться от него, упрятал в прошлое, крышку захлопнул и облегченно дух перевел.

Но, пока изжил сердечную скудость, с монашеским старанием стонился женщин, размашисто наделял чуть ли не каждую блудливым нравом и неукротимой лживостью.

В своих перемещениях по стране он искал только мужские сообщества: лоповцев, геологов, лесорубов. Редкие таборщицы и жены бригадиров, разбавлявшие их, были, как правило, мечены возрастом, раздражительны и скучны и не возбуждали его обличительных сомнений. Порой у вечернего костра или в затяжные дожди эти усталые женщины кратко молодели, расправлялись и свежели их лица — окружала женщин в те поры ностальгическая мужская пристальность, обостренная ночью, тьмой ненастья, так охотно прячущими все дороги к дому.

Тимофей вглядывался в лицо какой-нибудь тети Маши, освещенное досужим мужским вниманием, вдруг вспомнившей, как когда-то молодое, кокетливо-удивленно взлетали ее брови, как загадочно, внезапно и легка бывала улыбка. «Неужели не чувствует, как улыбается? Целиком притворщица улыбка. Возможностей уже никаких, а все к обману тянет. Все бы головы морочить! До гробовой доски готовы хихикать сладко. Пожилая уже, а как взошла на уловках всяких, так и закоренела. Нет, смотреть на нее невозможно». — Тимофей с жалостливой брезгливостью морщился, уходил в палатку и, без устали сжимая выпуклую ручку карманного динамо, укладывался перечитывать любимую свою книгу «Записки об ужении рыбы» Сергея Тимофеевича Аксакова.

Пристал он однажды к геологам, искавшим уголь под Невоном, на правом берегу Ангары. Копал каналы, бил шурфы, таскал на поняге ящики со взрывчаткой. К тому времени Тимофей уже выделялся заметной двууживчивостью — этакий рыжий конь-тяжеловоз распахивал сопки со сноровистой, неиссякающей силой. Напарник сигарету не успеет выкурить, а Тимофей уже по плечи закопался в красный аргиллитовый склон. По три пары брезентовых рукавиц сторало за световой день на огромных жарких ладонях Тимофея. Он не уставал ни от лопаты, ни от кирки, ни от топора, ни от мастерка, ни от рычагов бульдозера или экскаватора, только разжигался в нем какой-то глубинный азарт, внешне обозначавшийся испариной на широком лбу и влажным курящимся румянцем. Тимофей разгорался, превращал работу в невозможность передышки и перекура, растворялся в ней, и чем сильнее она сопротивлялась, тем ненасытнее вгрызался в нее Тимофей. Он медленно остывал

от работы, забавно и неловко взмахивал руками, словно удивлялся: как же это в них ничего нет, куда же это делся топор, только что сочно и стружисто тесавший бревно; куда запропастился мастерок, только что выводивший стену и тянувший строгие швы, — долго не замирали в Тимофее отголоски тех или иных рабочих движений, и он со слабой улыбкой прислушивался к ним, как к удаляющемуся эху.

Его редкое трудолюбие отличила и таборщица Неля, женщина мрачная, большая, с рыхловатыми щеками и хмурыми зелеными глазами. Спокойного, нормального ее голоса никто не слышал, все-то она раздраженно бубнила: «И вот едят, и вот едят! Заберутся от людских глаз подальше — и наворачивают. Ползарплаты проедают». И это мрачное бормотание сопровождалось увесистым швырком алюминиевой миски: «Нате!» — кулеши и каши у Нели бывали горячи, вкусны и примиряли с любыми ее изьянами. Геологи лишь посмеивались: «Чудит Неля, рельеф замучил», — подразумевая, видимо, громоздкость Нелиных хорошо питаемых полусфер и полушарий, должно быть, утяжелявших Нелин нрав.

В пятницу, раннеавгустовским вечером, Тимофей вернулся с дальних шурфов и не увидел на берегу лодок, лишь ржавые полосы приминили белую ангарскую гальку. Поднялся с берега к табору — Неля скоблила стол под навесом. Была в просторном нейлоновом халате, простеженном красным шнуром, с влажными, тяжело темневшими после недавнего мытья волосами, со свежим баннным глянцем на толстых щеках. Ее хмурые зеленые глаза вдруг горячо заблестели. Тимофей удивленно понял: Неля улыбалась, ее бранчливые губы, оказывается, скрывали белые редкие веселые зерна.

— А лодки где?

— Мужики в Невон уехали.

— Как в Невон?

— Раньше собрались. Привоз нынче большой. Сельповские мимоплыли.

— Им, значит, привоз, а мне фигу в нос. Молодцы-ы!

— Я их сбила. Показалось, ты с охотниками проплыл.

— Когда показалось?

— На катере плыли. Во-он повыше шиверов. Рубашка — в точности твоя. С такой же полоской. Думала, ты подхватился. Что-нибудь надо стало.

— Когда это я с работы подхватывался? Показалось ей!

— Из-за рубашки все.

— Полоски она увидела, зоркая стала.

— Садись, ешь. — Неля снова нахмурилась, в желтую, выскобленную столешню впечатала черную сковороду. — Разговорился.

Молодая картошка на сковороде выдыхала свежий пахучий пар, пробивался он сквозь темно-зеленое крошево укропа и лука; рядом со сковородой поставила Неля берестяной лагушок малосольных ельцов

с нежно розовеющей чешуей возле жабр, дольками молодого чеснока был забит тузлук, и, казалось, запах его вьется над лагушком тонко, остро, прозрачно.

— Молчу. Как партизан.— Тимофей повольнее, пораскидистее устроился на лавке, ворот у рубахи поглубже расстегнул — предстояла сладкая и серьезная работа.— Если меня так потчевать, всю жизнь промолчу.

— То-то! — опять улыбнулась Неля, опять показала свои редкие белые симпатичные орешки.

Отдыхал на берегу, побрасывал камушки в зеленую быструю воду, поглядывал на левобережье, на Невон, затянутый недвижной вечерней прозрачностью, сквозь которую пробьются через час-другой дрожащие желтые огни. «Мужики, наверное, в клубе сейчас. Рюкзаки с товаром под лавки, а сами — в пляс». Тимофей увидел тесный бревенчатый невовнский клуб, рыжего Гошу-баяниста в фуражке-капитанке с ярко начищенным «крабом», услышал его зычный, какой-то придурочно-лихой голос: «Эй, на берегу! Внимание! Танец-крестьянец!», — и запел баян во весь голос: «Ой, полным-полна коробушка...», — под нее что хочешь получалось: и вальс, и танго, и фокстрот или эти теперешние перемишки. Только на пары разобьются, а тут и кино подоспеет. Тимофей представил, как Гоша, запустив аппарат, прокрадется в зал и, когда фильм наберет силу, включит свет, чтобы посмеяться, — вот радости-то дураку, — кто как обнимается. Девчонки завизжат, отпрянут от кавалеров, те с гулкою смущенностью закашляют в кулаки, потом кто-нибудь потянется к Гоше — по шее угостить, но не дотянется: Гоша выключит свет. Тимофей засмеялся и лениво, вскользь позавидовал праздничной, многообещающей клубной жаре, но на берегу было все же лучше: упругая мягкая прохлада отгесняла мошку и комаров и плещущим своим, озонно пузырящимся накатом помогала Тимофею ощутить этот вечер как один из самых тихих, ласковых, утешающих душу вечеров.

Сверху, от табора, сыпалась и сыпалась с глинистым шорохом Нелина воркотня впережку со звоном мисок, ложек, кружек: «Расселся там. Воды не видел. Только бы отдыхать. Наедятся и как коты. На завалинку бы, на бережок». Тимофей вслушался в размеренный этот грохот и понял, что для Нели поворчать и понегодовать — все равно что песню спеть. Он засмеялся: «А ведь, правда, как поет. Просто других мотивов не знает. Да и других слов. Как шаманка у костра. Бормочет, бормочет, покрикивает. Глядишь, молитва повыше залетит. И все вокруг сыты да довольны будут».

Он поднялся к сигнальному столбу, снял «летучую мышь», протер стекло, долил солярки — столб они поставили после одной дождливой ночи, когда, возвращаясь из Невона, пристали верст на пять ниже табора. Неля утихла, видимо, ушла в палатку. В ближайшем лесу вяло подавала голос кедровка, тоже, видимо, накричавшаяся и нарабоавшаяся за день. Тимофей еще и с обрыва поглядел на левобережные дали: дома Невона

затаились темными стогами перед появлением месяца — вот-вот засеребрятся тальники, протянутся сверкающие полосы по колеям луговых дорог (в них особенно обильна роса), вершины стогов мерцающе оплавятся и закурятся сказочным лунным дымком. А пока сумерничают, безмолвно глядя друг на друга, проулки, ворота, жердевые палисадники и белые валуны, попавшие когда-то на улицу. Река несла пласты розового перламутра, и непонятно было, откуда они взялись, — заря угасла, не оставив ни горящих облаков, ни отсветов, лишь ясное, беззвездное еще небо охватывало леса и берега тишиной.

Со сладким вздохом отвернулся Тимофей от реки: сейчас заберется в палатку, возьмет фонарик, прочтет «Записки» — как удили плотву с плотины старой мельницы, и долгий день завершится счастливой, истинно миротворной нотой.

В его палатке была Неля, сидела в глубине, подогнув ноги, — ярко, обкатно светились колени, нейлоновый халат, простеженный красным шнуром, взбугрился на груди и плечах, былинно укрупнив Нелю.

— Ты чего это? — по-рачьи попятился Тимофей. — Неужто перепутал?

Но он знал, что залез в свою палатку, ничего не перепутал, потому и попятился, испугавшись Нелиного такого явного утверждения здесь.

— Тебя жду. — Неля, стремительно изогнувшись, ухватила его за руку и повлекла внутрь. — Про охотников я наврала, нарочно мужиков отпирала. Чтоб без тебя ехали.

— А меня спросила? — Тимофей попробовал вырвать руку, но Неля держала крепко.

— Да ладно тебе! — Она обняла его. Нейлон заискрил, и легкая молния пронзила Тимофея.

— Дай хоть вздохнуть-то!

— Нечего! Нечего, говорю, представляться. Вот. Ладно, ладно... ох ты и геолог...

Тимофей вскоре ушел от геологов на левый берег, в Усть-Илим, на нялся бульдозеристом в карьерное хозяйство. Напугали его тяжеловесные Нелины ласки, богатырская ее неугомомость и какая-то командирская, приказная манера в изъявлении желаний. Сбежал Тимофей от греха подальше и, передохнув от Нелиной власти, ощутил в себе перемены: заслонило, оказывается, гневливое недоверие к женщинам Нелиным крутым плечом, появилась склонность к терпеливому сосуществованию с ними — можно, можно было время от времени сносить их прозрачные хитрости, воркотню, их куцее лукавство и дремучую жадность. Но сносить, лишь приходясь им временным соучастником неких субботних, с праздничным банным угарцем встреч.

Жила также в Тимофее, прихотливо укоренялась как бы помимо его сердца тяга к определению черт и свойств женщины, которую хотел

он встретить в жизни. Не соединяясь с Наташиным обманом и предательством, независимо от последующей непонятной вины перед лыжной теплой лепетуньей Ольгуней, обходя Нелину простодушную и неуклюжую натуру, укреплялось в Тимофее вопреки всем горьким урокам видение желанной, единственной подруги, стремящейся к нему с берегов то ли Тунгуски, то ли Печоры.

В мечтах летний ветерок оведал ее, стоящую на речном берегу. Облепляло легкое платье крепкую, стройную фигуру, все в ней было надежно и полно упругой силы. Ласково голубели большие глаза, и что-то ласковое, уважительное, заботливое говорила она ему, а он никак не слушаться не мог и так радовался, так тянул к ней руки! Чтобы бережно обнять, приветить за ласку и уважение... Нет, Тимофей даже в видениях не хотел скучной женской безоглядности, когда, как говорится, только в рот ему заглядывают и живут только в ползучих домашних хлопотах, в служении ему, вроде бы как в радостном служении. Нет, нет! Они будут жить в равноправном согласии, будут не только дом и детей вытягивать и жилы на работе рвать, но и на крылечке будут сидеть и говорить о других землях, о странностях, которыми эти земли полны. Будут пересказывать друг другу удивительные новости, но никаких сплетен им не надо, хулить людей и осуждать не будут, а постараются мерить их добросердечием.

Увидел однажды Тимофеей желанное лицо: голубые глаза, высокий чистый лоб, щеки румяные, здоровьем округленные, и под фотографией профессия обозначена, для семейной жизни весьма подходящая: швея-мотористка, — и муж и дети всегда обшиты будут. Отправил швее письмо: «Уважаемая Зина, я тружусь на замечательной стройке на Ангаре. Строю Усть-Илимскую ГЭС, являюсь бульдозеристом. Еще несколько специальностей приобрел в армии. Хочу с вами познакомиться, так как ваше лицо на фотографии в журнале «Работница» нравится мне честным и приятным выражением. Если вы не против, могу прислать свою фотографию, на которой вы увидите меня рыжим, веселым и добрым. Извините, конечно, за шутку. Но я действительно рыжий. Но ничего страшного. Если вы примете мою фотографию, то потом можем познакомиться очно. Уж мы договоримся, когда и где. Мечтаю увидеть вас и серьезно поговорить о жизни. Может, и вам станет интересно. До свидания. Ваш незнакомый усть-илимский друг Тимофей Неженатов. Извините за неудачную шутку. Настоящая моя фамилия — Воробьев. То же, по-моему, смешная. Будьте здоровы, уважаемая Зина».

Швея ответила: «Здравствуйте, Тимофей Воробьев. Ваше письмо получила позавчера. Спасибо за весточку. Мы с мужем порадовались, что вы живете на замечательной реке Ангаре. Случайно при вашем письме у нас в гостях была моя лучшая подруга Алла. Она работает на нашем комбинате. И тоже добилась звания передовой швеи. Ей по душе пришлось ваше письмо, она давно интересуется Сибирью и освоением ее богатств. Посылаем на память вам нашу общую фотографию. Она сдела-

на на балконе нашей квартиры при помощи автоматического спуска, то есть муж мой настроил фотоаппарат и успел перед щелчком встать между нами. Слева от него моя подруга Алла. Она живет в общестии, письма там часто теряются. Поэтому письмо ей можете отправить по нашему адресу. Мы обязательно передадим. Ждем вашу фотографию. Желаем вам крепкого здоровья и сибирского долголетия».

Подруг на фотографии обнимал широкими короткопальными ладонями мордастый прапорщик с темными, цепко сощуренными глазами. «Кладовщик, должно быть, — с неожиданной неприязнью всмотрелся в его лицо Тимофей. — Ишь сощурился как! Прицелился к чему-то. Сейчас потащит».

Алла, передовая швея, старательно таращила добрые коровьи глаза, нос у нее был толстый и очень белый, видимо, перед автоматическим щелчком торопливо пудрилась. Тимофею Алла показалась простодушной, скромной женщиной, с которой, наверное, можно наладить серьезную, старательную семейную жизнь. «Знаю я этих подруг, — отодвинув фотографию, как бы издалека изучая ее, размышлял Тимофей. — От лучших подруг только и жди какой-нибудь каверзы. И этот прапорщик еще тут. Что это он вцепился этой Алле в плечо? Кто она ему — сестра, свояченица? Где это они услышали про сибирское долголетие? Извините, девушки, но ваш адрес я забуду. Живите дружно и не поминайте лихом». Тимофей убрал фотокарточку и письмо в деревянный ларец — подарок старшего брата, где держал скудный архив своих личных невезений. Время от времени перечитывал письма Наташи и видел милую свою, золотую солдатчину — всю разом, как картину в рамке: маленький гарнизон-«точку» среди осенней бурятской степи, нестерпимую синеву, обливавшую желтые сопки; очередное Наташино письмо он читает на лавочке под кустом шиповника; искрится паутина среди просторного сентябрьского дня. Тимофей снова укрепляет в памяти радость, шелестящую в давнем письме, надежду, нарочно забывает Наташин обман, тоже давний теперь, чтобы, забывшись, снова разволноваться до дрожи в похолодевших пальцах, представляя, какой бы дом у них был добрый и гостеприимный, как бы он со старшими (конечно, сыновьями) ходил перед Новым годом за елкой в лес, как бы они плыли, огребались по сугробам к закуржавленной опуши на густо узорных, матово темнеющих ветвах.

В ларце лежала и золотая резиновая рыбка, купленная Тимофеем в тот несчастливый день, когда ехал увериться в существовании Ольгуни («Если есть, пусть гостинец от дяди получит, от щедрот жениховских»). Но живое, порхающее, не признающее никаких несчастий явление Ольгуни отшибло Тимофею память, забыл про рыбку, увез с собой, чтобы теперь вот через столько лет достать из ларца потускневшую, потрепавшуюся, потерявшую золотую чешую рыбку, и, нажимая на бока, усмехнуться сохранившемуся тоненькому писку, и испытать странное,

бессмысленное желание поглядеть на выросшую Ольгуню, — сколько, наверное, скопилось в ней огня и угловатой отроческой пугливости.

Напоминания о Неле в ларце не было: ни шпильки, ни брошки, — Неля, видимо, надеялась запомниться неутомимостью и силой чувства. Но Тимофей пренебрег им, не скрашенным романтическими подробностями — ни засохшим листком, найденным вместе на осенней тропе, ни пыльным «ах» в почтовой открытке, ни нежной надписью «Люби меня, как я тебя» на фотোগрафии. Тимофей вроде бы не заглядывал в эти романтические колодцы и вроде бы и не хотел заглядывать, но на самом деле только из них и пил.

А со временем нрав Тимофея, омрачаемый застарелым холостячеством и отсутствием романтических, выпорхнувших бы из прекрасной руки умягчений, стал еще страннее: окружающих женщин вообще не замечал, не слышал их льстивых, заманных речей; с раздражающей невозмутимостью проходил сквозь ряды тоскующих по крепкому плечу молодых из контор и многочисленных бумажных служб, а сам тем не менее ежечасно думал о единственной и как бы уже предназначенной ему, но покамест еще не соединившейся с ним. Надо было сначала, будто в сказке о Коцее, разыскать ее сердце, мчаться за ним серым волком, оборачиваться голубем, чтобы попасть на остров, там найти сундук, в сундуке яйцо, а в яйце — иглу, которая и была и сердцем и жизнью любимой. И Тимофей пронзительно мечтал, как он добудет это сердце, ясно видел, как голубем взвизывает над островом, свист крыльев слышал... Так уж вымечтал дорогу к единственной, что дни сливались в ожидание этой дороги, в посвист ветра в ее обочинных лозняках, в белые далекие облака над ее равнинным бесконечным бегом.

Тимофей жил теперь только для нее, в мечтах избранной, и работал, получалось, только для нее. Что ни сделает: фундамент поставит, просеку прорубит, шпалы уложит — сразу оглядывается, видела ли, заметила ли, как быстро и чисто он работает. Была, однако, в этой оглядке странная суетливость. Скажем, села баржа на перекате, надо груз перетасить на берег, шагая по пояс в мелкой ледяной волне, — Тимофей, конечно, впереди добровольцев, до последнего мешка и ящика из воды не вылезет, но беглого «спасибо» от орсовского шкипера ему мало, хотя от благодарственной кружки и не откажется: примет, крикнет, потом в баньку, потом в сухое переоденется — и в многотиражку к сумрачному молодому редактору, бывшему звучу невонокской школы.

— Слышал, корреспондент, баржа у Лосят села?

— Видел.

— Спасателей много было.

— А ты что, считал?

— Считал.

— Давай заметку, раз считал.

— Я не корреспондент, я — доброволец.

— Все мы добровольцы.

- Я тебе расскажу, ты напишешь.
- О чем? Какой ты герой?
- Какой я настоящий.
- Настоящий кто? Жлоб? Выделяла?
- По лбу хлоп — вот кто.
- Похулигань, похулигань, может, и выпросишь.
- Давай без нервов. Ты про меня пишешь, я к тебе со всем уважением.
- То есть вежливо и с умом, да?
- С добром. Ты мне злое слово, я тебе — ласковое. Как сейчас.
- Ладно. Диктуй. Подсказывай. Как про тебя писать?
- Не дури! Сразу «диктуй».
- По заявкам еще никого не хвалил. Ты первый.
- Ну как выйдет. Напиши, как баржу на перекат понесло и как сразу же я полез в воду. Никто меня не призывал, никто не понукал. Залез и до последнего мешка выстоял.
- Черномор! Челюскинец!
- Или с другого начни. Как с утра меня все к речке вело. Тянет и тянет. Дай-ка, думаю, на берегу постою, только вышел, а баржа и затрещала.
- А может, проще надо? Такой-то спасал груз с разбитой баржи, чтобы прославиться и без очереди получить квартиру.
- Молодой, а беззубый. Кусаешь, кусаешь, а спецовку прокусить не можешь. Ты что кидаешься?
- Наглость твоя злит.
- Какая наглость?
- Нищенская. Что ты эту заметку выпрашиваешь? Руку тянешь! Нехорошо же!
- Но в ней же правда будет.
- Хочешь, чтоб заметили, отойди в сторону, а не при напролом.
- Ты уж сразу изо всех стволов. Слова ему доброго жалко.
- Ну да! Хваленый пятак себя за рубль выдает.
- Правильно. Для меня главная награда, чтоб заметили.
- В своей Нахаловке первым парнем будешь.
- Ты пойми все-таки. Хороших людей много, всех не заметишь. Вот и я: работаю честно, товарищей не подвожу, за длинным рублем не гоняюсь. У меня одна страсть: заметьте меня. Сам выбираю вид поощрения.
- Ишь ты, какой штопор вьешь!
- Дни уходят. Годы. И ничего от них не остается. А я на бумаге хочу закрепить свою биографию. При случае и дети и внуки прочтут.
- А на слово они не поверят?
- Они-то, может, и поверят. Да я-то знаю, что с бумагой надежней. Вдруг чего забудешь, а бумага тут как тут!
- Вот как суетимся, вот как клянчим!

— Да брось ты! Каким напишешь, таким и стану. Где твоя непроливайка? Садись и заноси жизнь на бумагу...

Заметка появилась под заголовком «Тимофей и баржа». Приятели в котловане и общежитии поухмылялись: «Какие габариты!» — и приветственно, поощрительно потолкали кулаками Тимофею в грудь и в плечо. Он же газету и не раскрыл — скучно стало, напрасно корреспондента переговорил, напрасно пересилил его неприветливость, одна блажь вышла, один кураж. Кто его заметит, кто приветит в этой жизни? Некому. Хоть сто заметок напечатай.

Томился Тимофей, жизнь хотел переиначить, из колеи давней выбиться и потому метался от смеха к греху, вдруг замирал среди этого метания и с горячной испариной на лбу спрашивал себя: «Куда деться? Что мне надо? Кого искать? Где?»

В «черную» субботу под майским дождем и снегом Тимофей шел со смены и с улицы еще услышал радостный хохот в своей комнате в общежитии. Прилетел, оказывается, Костя Родионов, вернулся из прибалтийских странствий — длинные северные отпуска заставляли Костю тщательно и подолгу знакомиться с бытом разных республик. Вернулся с гостинцами, с образцами, по словам Кости, национальной крепости — все это сверкало, переливалось, благоухало на колченогом общежитском столе. Сам Костя сидел на просторном подоконнике и потчевал друзей-приятелей заметками из привезенной «Газеты знакомств». Тимофей приостановился на пороге, переждал жаркую плотную волну хохота.

— С приездом, Костя.

— О! Еще один жених явился! — У Кости от долгого веселья непрерывно звенел, никак не остывал голос. И казалось, вот-вот рассыплется на визгливые осколки. — Здравствуй, здравствуй, дорогой, мы тут все женихи. Не обижайся. Читаю для тебя, Тимофей. «Привлекательная, стройная разведенная женщина, рост 166 сантиметров, надеется найти спутника жизни в возрасте 30—40 лет, умеющего любить и быть любимым». Ответь, Тимофей! Умеешь ты любить? — Опять жарким, каким-то тесным пламенем всплеснулся хохот. — А быть любимым ты умеешь?

Тимофей показал рыжий свой огромный кулак.

— Ясно. Не хочешь быть любимым. А верным другом? Читаю. «Ищу верного спутника жизни, доброго, веселого, со спортивной внешностью и техническим образованием. Мне 32 года, стройная, внешне приятная, по натуре домашняя хозяйка». Образование, дорогой, не позволяет. Так что не надейся. Но есть женщины, для которых техническое образование не главный предмет семейной жизни.

Вскоре хохотать перестали. Сгустилось по углам, вдруг вздохнуло протяжно одиночество, занесенное в комнату на этом газетном листке и выраженное с такою метрической нескромностью и с таким безоглядным простодушием, что поначалу подступает недоуменно осуждающий,

какой-то безумный смех, быстро, однако, сменяющийся растерянностью и горечью перед беззащитным, наивным обликом одиночества.

И в наплыве этого внезапного понимания все смущенно загмыкали, вилки взялись вдруг вертеть, передвигать стаканы, катать хлебные шарики, расправлять, разминать клеенку, и сквозь эти еле тлеющие отзвуки недавно шумевшего застолья снова пробился насмешливый, напористый голос Кости Родионова, не услышавшего общего смущения или, напротив, пожелавшего восстановить прежнюю веселую колесо:

— «Ищу друга жизни, доброго, хорошего человека, умеющего мечтать и добиваться своего. О себе: 28 лет, русая шатенка, рост 165, стройная, работающая, детей нет. Хочу иметь крепкую семью».

— Хватит, Костя.

— Кончай!

— Давай лучше про себя. Как ездил?

Костя оглядел приятелей хозяйским цепким взглядом — в самом деле, никто уже не хотел слушать его насмешливое чтение. Но Костя привык сам устанавливать застольное настроение, и он свернул «Газету знакомств».

— Понято. Услышано. Предлагаю байку о счастливой встрече усть-илимского кавалера Константина Родионова и литовской девушки Анны Марцинкявичюте. Но! — Костя гибко, легко снялся с подоконника. — Но! — Он привлекающе взмахнул газетой. — Сначала мы подарим этих беспризорных женщин нашему Тимофею. Во-первых, он опоздал и многих призывов не слышал. Во-вторых, он человек основательный, вдруг да чего-нибудь высмотрит.

Костя с поклоном, с прижатой к сердцу рукой протянул газету Тимофею.

— Изучу и запомню, — пообещал Тимофей, пообещал всерьез, потому что вслух шутить не умел и не любил, однако же слова его рассмешили застолье, уж очень всем поверилось, что Тимофей, наконец, научился редким, но метким шуткам, увесистым, как бас, которым они произносились.

За три перекура Тимофей изучил «Газету». Сначала вычеркнул объявления тех, кому нужны были верные друзья, и сообщающие рост, возраст и прочие приметы внешней приятности, — попробовал было представить каждую в отдельности, но выстраивались по ранжиру стройные, добрые, с правильными чертами, и туманилось Тимофеево воображение от однообразия лиц. Потрясет Тимофей головой, потрясет, а лица опять восстанавливаются, неотличимые, ласковые, — только и оставалось, что вычеркнуть. Потом отказал тем объявлениям, где, по его разумению, были несомненные опасности. «Умеющим любить и быть любимым» — это так скользко, неясно, лучше в сторону. «Жилплощадью обеспечена». Откровенная приманка — вот тебе любимая, а вот тебе и крыша над головой. Нет, нехорошо и нечестно было бы откликнуться на это объявление, даже если бы и захотелось откликнуться.

Осталось одно-единственное, незачеркнутое и неотвергнутое. То, в котором темно-русая двадцативосьмилетняя женщина ищет в мужа мужчину, способного мечтать и добиваться своего. «Что же это она предполагает? — недоумевал Тимофей. — Умеет ли мужик о будущем думать? Как я понимаю жизнь на Марсе? Или могу ли я представить то, что никогда не видел? Способного мечтать... Интересно... Ну, своего добиться, понятно. Тут голову ломать не надо... Чтоб, значит, как постановил, так и сделал. Зачем ей этот мечтатель нужен? Что она с ним делом собирается... Способный мечтать... Что ж, она на мечтания на эти жить собирается? Все-таки что она имеет в виду?»

Мог он, конечно, написать этой темно-русой жительнице города Тихова, спросить письменно, что значит «способного мечтать», но вдруг письмо где-нибудь затеряется, сто лет идти будет, и замаешься ждать ответа.

И собрался Тимофей в отпуск. Купил билет до Костромы, а дальше, сказали, на пароходе добираться надо. Одергивал себя, и когда за отпусковыми в кассу стоял: «Ну кто за тридевять земель по объявлению ездит? Вдруг уже объявился там мечтатель из других краев, и на меня из-под ладони только глянут». Окорачивал нетерпение, когда уже самолетный билет в кармане похрустывал, шелестел. «И чего завожусь? Чего лечу? Одичал совсем, распустился — любой блажи уже поддаюсь. Да ладно! Проветрюсь, вернусь. Вот разлетелся — только в Тихове меня и не видели, посмотрят, посмотрят и скажут: «А у нас своих рыжих много». Но знал уже, что не остановится, билет не сдаст, кахтясь не будет. «Своего полечу добиваться», — говорил сам себе, но товарищам врал: летит, мол, в Москву, а потом на Кавказ, развеяться, отдохнуть, маршрут известный и накатанный, а скажи про Тихов — засмеют и замучают веселыми советами.

Правда, Костя Родионов не поверил ни в Москву, ни в Кавказ.

— Крутишь, дорогой мой! В мае ни купаться, ни яблоч не поесть. Яблочки прошлогодние, барышни незагорелые. Врешь, дорогой мой, и глаза отводишь, и краснеешь. Эх, Тимофей, не хочешь меня в сваты брать! А ведь я газетку-то для тебя вез. Но! Молчи, молчи, молчи. Удачно съездишь, обо мне вспомнишь. Неудачно — я ни при чем.

Тимофей забыл, что рассказывал как-то приятелю про конфуз свой с портретом швей-мотористки в журнале. А Костя вот помнил и, должно быть, понимал, что судьба Тимофея на фотографии да объявления желает опереться, — кто сам судьбу ищет, кому родня ее устраивает, а кто вот печальному слову верит, судьбу поджидая. Услышал голос судьбы Тимофей и уже не мог остановиться.

Быстрый, подбористый, сияющий свежей краской теплоходик высидил Тимофея на тиховском берегу. Тропа в молодых лопухах и крапиве соединяла этаким глинистым коромыслом дощатый причал с торговым

навесом, шиферным караульным шалашиком, поглядывающим с речной кручи. Под навесом три старухи торговали семечками вроде бы из одного подсолнуха: крупными, бокастыми, веселыми, с желто-черными прожилочками — так и просились на зуб ожидание ли скрасить, дорогу ли скоротать, летнее вечернее сидение на крыльчке утешающей бездумью заполнить.

Тимофей заширкал молниями на своей красной, в праздничных заклепках и белых швах суме.

— Ну давайте, бабушки. Никого не обижу. — Поставил суму рядом с корзинами. — Ты сюда сыпь, ты — в этот, а ты — в этот. Доверху сыпьте, чтоб застегнуть только.

Старухи быстро наполнили семечками его суму, Тимофей еще и карманы пиджака подставил: пока в Тихове нужный дом найдешь, пока подходы к нему и, само собой, отходы присмотришь, много горстей наберется.

Он перешел приречную луговину, нырнул в частый молодой березнячок и вынырнул на краю просторного, недавно вспаханного поля — тучная, тускло взблескивающая чернота его замедлила решительный и спорый Тимофеев шаг. «Вот это да! Хоть на хлеб мажь!» Он и семечки перестал грызть: неловко было сорить на этой чистой черной земле. Он не знал, что один из карманов у него худой и семечки вытекали потихоньку на обочину. Когда Тимофей оглянулся, чтобы еще раз удивиться сыто маслянеющей черноте, он увидел, как вдоль тропы напористо и дружно полезли подсолнушки, как на глазах приподнимались и укреплялись их стволы.

«Чудеса в решете! Хочешь верь, хочешь не верь!» — приговаривал Тимофей, входя в город Тихов меж двух старинных кирпичных столбов, оставшихся, должно быть, от былой заставы. По старинным плитам узкого тротуарчика, мимо палисадников, заполненных белыми и дымчато-фиолетовыми облаками сирени, поднялся в центр города, на соборную горку, где беленый, обезглавленный храм давно уже превратился в тиховский Дом культуры.

Тимофей сидел на скамеечке, разглядывая город: под горой — базарная площадь, мощенная булыжником, каменные торговые ряды, подерживаемые литыми чугунными опорами; за площадью — городской стадион, вернее, спортивное поле, окруженное деревянными лавками и фанерными щитами, обьяснявшими, как сдавать нормы ГТО, из каких фигур составляется городошная партия; по беговой дорожке шествовали тиховские молодые матери с младенцами в разноцветных колясках. Еще увидел Тимофей городской сад, тоже старинный, тенистый, просвечивали кое-где песчаные дорожки и уютные поляны в одуванчиках и лютиках. «Почему же они по саду-то не гуляют?» — удивился Тимофей тиховской причуде катать младенцев по беговой дорожке стадиона. — Может, все эти мамы — бывшие спортсменки? По молодости то-

скуют? — предположил он. — Пожалуй, нет, очень уж они присадисты и мощны. Хотя... Может, все ядра до замужества толкали?»

Отыскал и овражную сторону. Дома там вроде бы пожимали плечами в удивлении — кто правым, кто левым, в зависимости от наклона улицы. «Вроде как пятаются от оврагов, — подумал Тимофей о домах. — Подбежали к краю, испугались — и назад. Ну, а нам бояться нельзя. И отступать будет некуда, сразу и укатиться в эту прорву».

И вот он на Третей Овражной, дом 18. Позвякал кольцом, подождал, не вывернется ли со двора собака. Тихо. Тогда открыл калитку и по дорожке из толченого кирпича пошел к крыльцу.

— Эй, мил человек! Кого ищешь? — вдруг услышал он справа низковатый, сочный и певучий голос. В палисаднике под густой навесистой сиренью накрыт был стол. Легонько дымил самовар, две-три пчелы вились над вазой с вареньем, и сердитое их гуденье заворожило большого рыжего кота: опершись передними лапами о край стола, вытянув шею, он неотрывно следил за пчелиным снованием, и только чуть подрагивали его седые уши. Отодвинулась ветка, скрывавшая другую половину стола, и Тимофей увидел женщину: темно-русые волосы шатровыми линиями очерчивали лоб, и белый, нежный чистый купол его покоился на насурмленных ниточках бровей; румяные, налитые здоровьем щеки; ясное алое сердечко губ, большие, какие-то медлительные вишневые глаза — вот какая женщина сидела перед Тимофеем. Была она в просторной кофте-безрукавке, сотканной из белых и розовых лепестков, полные белые руки свежо и радостно сияли в темной листве — одной она удерживала приподнятую ветку, во второй на пухлых смуглых пальцах покоилось блюдце с чаем. Тимофей чуть не сказал: «А ведь я вас где-то видел». Но не сказал. «Вот так всегда, едва-едва приглянется, а уже охота глупости говорить и в знакомые набиваться». Он достал из бумажника вырезку из «Газеты знакомств», хотя и без нее, конечно, все помнил, но оказалось трудно навалившуюся немоту пересилить. Не отрывая глаз от бумажки, прокашлялся.

— Вы будете Саблецова Глафира Даниловна?

— Я. А то кто же? Ах, вон гости-то какие! — поняла наконец, что за бумажку разглядывает Тимофей. Не смутилась, не смешалась, привстала чуть, поклонилась. — Прошу к столу. Пока самовар горячий. — Она согнала кота. — Вот сюда садитесь. А он все утро гостей намывал. Ай да Васька-отгадчик!

Тимофей раскрыл все «молнии» на своей суме, выложил коробку конфет, купленную в Усть-Илимском аэропорту, сувенирную белку с кедровой шишкой в лапах, выгреб и семечки, насыпал горку возле самовара. Пока нагибался, доставал гостинцы, все думал с сердитым и красным лицом: «Привычная. Прошу к столу... Вот сюда... Косяками тут, наверное, ходят. Конечно, самовар не остывает. Ну, я долго рассиживать не буду. Долго выяснять нечего».

— Семечки-то тиховские? — улыбнулась, ямочки тут же веселые

промялись, глаза заблестели.— Таких нигде больше нет. На пристани или на базаре брали?

— На пристани.

— Издалека, наверно, ехали?

— Из Сибири.

— Ой, а белки-то и у нас тут есть!

— Какие белки?

— Да вот такие. Чучела-то. В промтоварах видела.

— Моя со мной летела.

— Да? Странница, значит. Хорошо, спасибо. Попушистей вроде, по-симпатичней здешних, ну, которые в промтоварах.

— Я тут мимо шел, удивился. Почему младенцев-то у вас по стадиону прогуливают? — Тимофей покраснел: совсем не то хотел спросить, а как-то вот вырвалось, черт его знает как!

— Веселей, наверное.

— Как веселее?

— Да так. Младенцам, мамашам, всему городу. Вон сколько прибыли в населении — глаз и радуется.

— А-а-а!

— Что же чай-то, пейте. С такой дороги самовара мало. Как вас звать-то? Забыли сказаться.

— Тимофей Ивановичем.

— Плохо угощаетесь, Тимофей Иванович. Или я плохо потчую. Давайте-ка я вам горячей картошки принесу да огурцов.

— Ладно, Глафира Даниловна. Потом. Успею. Вот я приехал... То есть я потому приехал... Объявление ваше, Глафира Даниловна. Очень серьезное. То есть мне так кажется. Не знаю, как вам.

— Я всегда одна, Тимофей Иванович. Так пусто стало, вот и объявление в газету...

— Одиноких людей много. Я тоже вот... Никак не собрался. Извините, Глафира Даниловна. Я не опоздал?

— Видно, не заметили вы, Тимофей Иванович. Газета-то прошлогодняя. За декабрь.

— К нам она случайно попала. Вдруг, думаю, не опоздаю. Значит, не успел?

— Нет-нет! — Глафире Даниловне, видимо, стало не по себе. И глаза потупила, и щеки побледнели, и пальцами бессмысленно по скатерти зачертила.— Как можно опоздать к тому, кого не знаешь? Вы же совсем меня не знаете, а вроде как рассердились.

— Что ж сердиться! А только я сейчас подумал, что уже, быть может, поздно.

— Напрасно думали, Тимофей Иванович.— Глафира Даниловна совсем поникла: и голову опустила, и голос в шепот упал.— И письма мне писали. И два купца тут были. Да все равно одна за самоваром сиживаю. Наверное, товар не тот, Тимофей Иванович.

— Получается, я — третий купец. Третий лишний. Или третий раз не миновать? Сильно вы затосковали, Глафира Даниловна. Не подходит вам это занятие.

— А кому подходит? Я люблю тишину, улыбки, неторопливую беседу. И дом свой люблю, и детей хочу, а жизнь все как-то меня не замечает. Мимо и мимо. Обидно, Тимофей Иванович. Но больше не буду.— Глафира Даниловна опять ямочками на тугих щеках заиграла, заплывали над столом ее белые полные руки, наливая чай, подвигая варенье, ватрушки с творогом и картошкой, рассыпчатое печенье, рулет с черемухой, окружила Тимофея такая домашность, приветливое, радостное ее кружево.

— О чем же в письмах речь шла, Глафира Даниловна?

— Свои привычки выводили и взгляды на семейную жизнь. Но в основном фоточки просили. Я фотографа нашего замучила с ними.

Старую неприязнь разбередило в Тимофее слово «фоточки»: Наташины лживые ласковые глаза вдруг вспомнились ему. Тимофеей едва отогнал мрачное облачко, нависшее над ним.

— Ответных, наверно, целый альбом набрался?

— Ни одной ответной.— Глафира Даниловна опять было пригорюнилась, но кратко, на миг и, махнув рукой, засмеялась.— Я очень глупой на фото выхожу. Глаза какие-то вытаращенные, испуганные, губы надутые, и щеки — во! Дура душой. Кто же откликнется?

— Не знаю, как на фотокарточке, не видел. А вот в жизни вы, Глафира Даниловна, очень живая. То есть интересная и сердечная женщина. Извините, конечно, если ошибаюсь.

— Спасибо, Тимофей Иванович. Мне так еще никто не говорил.

— Вот те раз! А купцы? Недавно вы поминали? Приехали, значит, и промолчали? Не заметили, с кем имеют дело?

— Похоже, и не вглядывались. Один совсем какой-то странный был. Почти неделю прожил и все в шахматы играл. То сам с собой, то меня давай учить. Учит, учит, кричит: «Не так, не так слон ходит! Неужели этого-то понять нельзя?!» У меня голова сразу раскалывается и глаза слезятся. Так и не выучил слонем ходить. А про жизнь и не говорили.

— Целую неделю вот здесь жил?— Тимофеей недоуменно и осуждающе покрутил головой.— Что же, вроде квартиранта?

— Познакомиться же надо было, Тимофей Иванович. Женихом приехал, как же откажешь? И вы поживите, Тимофей Иванович.

— А второй?

— Тот хитрец. Кубанский казак. Откуда-то оттуда. Я не проверяла. Черный, говорливый, шустрый — все, по-моему, врал. Поедем, говорит, ко мне в станицу. У меня дом! У меня сад! Теплица! Денег, как у дурака махорки. Вот только зимой веранда сгорела и флигель. Поедем. Вместе и отстроимся. Продавай дом — и на Кубань. Поняла я его. Сказала, что из Тихова ни шагу.

— Тоже неделю жил?
— Три дня только. Очень торопился. Может, баньку затопить, Тимофей Иванович? С такой-то дороги?
— И шахматист с садоводом парились?
— Не смогли. У одного сердце плохое, другой жара не выносил. Их вроде и не было. А раз не было, чего попусту вспоминать?
— Попариться сейчас — лучше и не придумать! Да, наверное, хлопотно.
— Ничего не хлопотно. Колодец во дворе. Дрова вон у забора. Сейчас и затопим.

Глафира Даниловна легко и быстро встала, хотя телесная основательность и крепость предполагали важную замедленность ее движений. «Фигуристая, — одобрительно отметил Тимофей. — И, должно быть, сноровистая».

— Еще одно, Глафира Даниловна. В объявлении вашем указаны приметы. Ну того, кто откликнется. Чтобы он, значит, умел мечтать и добиваться своего. К примеру, можно определить, есть во мне эти приметы или нет?

— Не слушайте, Тимофей Иванович. Я сгоряча приписала. Сама-то люблю повздыхать, повыдумывать. Ну, и прибавила в объявлении. Вдруг, думаю, найдется человек, с кем вместе на крыльчке помечтать сойдемся? Раздумалась, представила и — разлетелась, написала.

— Где же ваше крыльцо? Может, присядем? Никогда не пробовал. То есть на крыльчке мечтать.

Глафира Даниловна, однако, на крыльцо не повела, не захотела, как понял Тимофей, подпускать к своим заветным минутам, и еще он понял, что напрасно попросился на крыльцо, поторопился, много в голову взял, она же еще не знает, что он человек серьезный.

— Смотрите во-от туда, Тимофей Иванович. — Она показывала за овраги на зеленеющее поле. — Видите, дубы сгрудились, а возле них домишко? Во-он! — Глафира Даниловна округло повела рукой, словно издалека поглаживала, ласкала и поле, и ветхий домишко, и только начинающую зеленеть купу дубов. — Вглядитесь, Тимофей Иванович.

Тимофей взгляделся. Какие-то бугры вокруг дубов, перед избой продольное зеркало лужайки, окруженное буйной крапивою и ленивыми жирными лопухами. «Деревня была», — догадался он.

— И как эта деревня называлась?

— Дубовка! И сейчас так называется. А вот теперь прикиньте, Тимофей Иванович! Об этой деревне что в голову взбредет, то и скажите.

— Вроде как помечтай, Тимофей Иванович.

— Да как получится.

Тимофей прищурился, еще раз прицельно пробежался взглядом по неведальным пустырям бывшей Дубовки.

— Хорошо стояла — лес от ветров укрывал, окна к югу, тепло, уютно. И лужайка красивая. Вечерами, наверное, вся деревня на ней собира-

лась. Пела, плясала, семечки грызла. Надо на этом месте дом отдыха поставить либо сады-огороды развести. Чтоб место ожило.

— Правильно! Так и было, Тимофей Иванович! И можно, конечно, сады развести. Но мне всего интересней о настоящем думать. Я мечтаю только о нем. Как было — там ничего не поправишь. Как будет — не знаю. А вот нынче — и так и эдак можно устроить. Размечтаешься, и вроде только от тебя зависит — как.

Ее сочный, лениво-певучий голос вдруг напрягся, еще более сгустился, взволновалась Глафира Даниловна, и Тимофей увидел, что глаза ее из вишнево-черных сделались темно-медовыми. «Ишь как распалилась! Щеки горят, глаза горят — откровенная женщина. То есть должна быть без обмана».

— Дубовку, по-моему, уже никак не устроишь.

— А я знаю! — Глафира Даниловна прошла на крыльцо, чтобы увидеть Дубовку с некоторой высоты. — Надо домишко подновить. В нем две старухи живут. Овдовели и поселились вместе. Колодец для них вычистить нужно. И ворот поставить, а то они на веревке ведро забрасывают. Под дубами надо все разгрести, сжечь и песком посыпать. Пепелища все заровнять, тоже песком посыпать, скамейки там-сям поставить, родник там, его бы почистить да камнем обложить. И оживет место. — Глафира Даниловна отступила в мечтательную забывчивость, вся этап сладко затуманилась и глаза прикрыла, чтобы прогуляться потихоньку, не сдерживаясь видом разоренной деревни, по обновленным дубовским местам. И горло перехваченное поглаживала белой ладонью. Но вот опять выплыла: — А еще, Тимофей Иванович, на лужайке поставить бы качели. Высокие такие, из длинных, длинных жердей. Раньше в Тихове весной на каждой улице качели ставили. Девуцу какую-нибудь раскачаю и вицами давай настегивать, про жениха выпытывать. Да-а-а... Вербка бела — бьет за дело, вербка красна — бьет напрасно...

— Помню качели. И у нас ставили. — Тимофей глаз с нее не сводил, как только на крыльцо взошла и завитала над дубовской лужайкой. Разволновался Тимофей от голоса ее убедительного, от картин ее, с такой душой показанных. — К ременным петлям веревки привязывали. А теперь подшпипники можно... Извините, это я так. Ни к чему. Может, Глафира Даниловна, сегодня все решим? То есть как вы в объявлении сказали. Может, поиски прекратить? Извините, конечно.

— Хорошо, Тимофей Иванович, — и протянула руку, и, опираясь на Тимофееву, плавно сошла с крыльца.

А вскоре банька поспела. Потрескивали, пощелкивали бревна от жары, белая сухая спина полка окуталась прозрачной раскаленностью, обманчиво будничны и серы были голыши в каменке, в тазах расходились веники, березовые, дубовые и один «для духа» можжевельный; в большом жестяном ковше тоже «для духа» заваривались сушеная польва с мятой — пронижет позже раскаленный поток острие степной вечерней свежести. В предбаннике на широких лавках — махровые про-

стыни, на столе — глиняные кувшины с квасом, только что из погреба, отпотевшие, и кружки глиняные, и перелетывают неспешно над лавками и над столом сухие прохладные сквознячки.

Не успел еще толком пронять Глафиру Даниловну и Тимофея первый пар, не успели еще растомленные, разошедшиеся веники подвинуть их к первому совместному жару, как во двор зашел дед Андрей, совсем ветхий и такой маленький, что внукова солдатская гимнастерка была ему чуть ли не до пят. Дед Андрей дружил с покойными родителями Глафиры Даниловны и после их смерти всегда помогал ей: дров привезет, напилит, наколет, огород вспашет, колодец вычистит, — а когда совсем ослаб и сморщился, заходил уже без дела: «Скоро, Гланька, встренусь с отцом, матерью твоими. Что сообщить, рассказывай». Но и, заходя так, для разговора, замечал вылезший гвоздь, вколачивал; подбирал щепку у ворот, относил к поленнице.

Дед Андрей заглянул в палисадник, в дом, в огород — Глафиру Даниловну не нашел. Уселся на крыльцо, закурил: «Подожду. На дворе суббота, на службу ей не надо. Скоро придет». — И тут услышал голоса в бане. «Вон что! Опять кто-то к Гланьке свататься приехал. Ишь навеличивают друг дружку: Иваныч, Даниловна. Уж не в бане будто, а в каком казенном месте. Нагишом, а без отчества никак». Дед Андрей еще закурил, снял выгоревшую, тоже внукову фуражку с черным околышем, положил рядом — ему казалось, без фуражки он лучше слышит. «Ну во-от. Так оно понятнее: Тишенька, Глашенька — знатно, значит, парятся. Ох ты-ы!»

Дед Андрей встал, потряс головой — то ли мгла какая глаза застила, то ли бессмысленно кровь ударила в голову, но почудилось деду, что крыша над банькой подпрыгнула да и стены вроде зашатались. «Может, и не мерещится. Сколько все же силы скопилось! Тесновато им, видно... Хватит, однако, пойду. Не для старого мерина эти сладкие песни. Ну, вроде нашла Гланька пару. Слава богу».

После банных забав и трудов хорошо беспечно и вольно разбаюкаться на лавке предбанника.

- Ой, Тиша, мы как из одной деревни! Оба телом-то рыжие.
- Как это?! — Кувшин с квасом удивленно замер в руках Тимофея.
- Да никак. Все плывет во мне, и сил нет от глупости удержаться.
- Хочешь квасу?
- А у нас под качелями, значит, еще такую песню пели: «Я молодчика задумала любить...»

С рассветом Тимофей отправился в Дубовку. Старухи уже не спали, сидели на завалинке, опирались на костылики и сумрачно поглядывали на Тихов, на соборную гору, над которой громко кричали дружные и несметные вороны.

— Привет дубовским долгожителям! — весело поклонился Тимо-

фей, почти не спавший, рано разбуженный ласками Глафиры Даниловны, но однако же свежий, благодушный и сильно соскучившийся по работе.

— Глянь, Шура, какой воин выискался! — Старуха в серой шали и валеных опорках ткнула костью в топор, торчащий из-за пояса Тимофея. — Секир-башка сейчас будет.

— Доламывать послали. — Шура была простоволоса, с белыми тесемками в жиденьких седых косицах и в черной овчинной безрукавке. — С топором, лыбится — такой что хошь снесет.

— Окститесь, бабушки! — Тимофей обиделся. — Я сюда со всем сердцем, а меня — в разбойники.

— Давай, давай, проходи, — сказала Шура, — сердешный.

Они хмуро и молча наблюдали, как Тимофей выгробал из-под дубов всевозможные железки, проволоку, кирпичи, обломки шифера, доски, старые ведра, обручи, шины, корыта, тазы, трухлявые жерди и тотчас же пуская их в дело: кирпичами выложил дно родника и исток, из добрых досок сколотил ларь и сложил в него могущие пригодиться железки; жерди, обломки досок, коряги, сучки наколол, нарубил и сложил в щеголеватую, хорошо продуваемую поленницу.

Прошелся по бывлым дворам, в завалившихся погребках отыскал бидоны с краской и олифой, деревянный кожух от колодезного вóрта, несколько ломов, до черноты позеленевший самовар; поправил колодец, натаскал старухам воды в бочки, отчистил песком самовар, быстро согнул, склепал трубу для него, залил родниковой водой, набрал в лесу сосновых шишек — весело засвистел сначала, потом шмелем загудел самовар, щеки надул, и запыхал они от натуги медным румянцем. Поставил старухам на крыльцо, Шура костью приподняла, погрозила Тимофею:

— Больно верткий! А у нас, милый, ни сахару, ни заварки, кипятком побалуешь.

Тимофей засмеялся.

— Погожу. Еще не заработал.

Гнев на милость старухи сменили через некоторое время, когда Тимофей взялся за их домишко: поднял домкратом осевший угол, подвел новый столб; подконопатил стены, обшил подручными досками; подобрал, подтянул разъехавшуюся завалинку, перебрал крыльцо; залез на крышу, поставил жестяные заплатки, а потом покрасил домишко: крышу — суриком, стены — охрой, рамы с наличниками — белилами.

— Это кто ж тебя послал? — спросили старухи.

— Глафира Даниловна.

— Это кто ж такая?

— Самая главная в Тихове.

— Начальница?

— Еще какая!

— Ну дай бог ей здоровья! Ты самовар-то свой нам отдашь или унесешь?

— Он же деревенский. Что ему в городе делать?

— Тогда раздувай. Чай пить будем.

Чаевничали потом с вареньем, пирогами да дубовскими шаньгами (с подсахаренным щавелем), да с дубовскими разговорами, когда старухи наперебой, сердясь друг на друга, путаясь, торопились пересказать Тимофееву свою жизнь, полную труда, лишений, обид и намеренной незлопаметности...

Пока дом подновлял, пока под дубами чистил, пока чай гонял, пришла из Усть-Илимского карьера его трудовая книжка, и Тимофей сразу же нанялся бульдозеристом к тиховским мелиораторам. Разровнял, загладил все бугры и ямы в Дубовке, дорогу к Тихову подчистил, привез песку — зажелтели тропы под дубами и недавние пустыри, где Тимофей расставил чурбаки для сидений и легкие, плетенные из тальника навесы. А на лужайке поднялись бело и растопыристо высоченные жердевые козлы, на них Тимофей положил жердь потолще. «Вот и верба бела — бьет за дело», — приговаривал он, пропуская через подшпипники длинные ременные концы.

Первыми на дороге к затеплившейся Дубовке появились тиховские матери с младенцами. От стадиона к сидящим на крыльце дубовским старухам покатали желтые, белые, красные, голубые экипажи, выстраивались полукругом у крыльца, и старухи с редкой радостью встречали гостей: гугукали над каждым младенцем, щерили в улыбках беззубые рты, а особо выделенных привечали «козой рогатой и бодатой» в мягкие фланельные животышки.

А тиховские матери осторожно, как бы с краешку пробуя новую молодость, потихоньку взвизгивали, возносясь на качелях. Их сладкий повизг слышали мужья и тоже потянулись в Дубовку.

— Вот видишь, Тиша, как славно! — говорила Глафира Даниловна, положив голову на плечо Тимофееву. — А зимой там надо катушку сделать и карусель на льду. Знаешь?

— Знаю. На кол насаживается колесо от телеги, к колесу — жердь, и пошел крутить, а за жердь санки цепляешь.

— Или на коньках. — Глафира Даниловна сняла с плеча большую, широкую и тяжелую ладонь Тимофея, но не выпустила ее сразу, а немного покачала, погладила, словно про себя взвешивала, примерялась, сколько сможет поднять и осилить такая ладонь. — Я о другом мечтаю, Тишенька.

— О настоящем?

— О самом-самом. Как бы в Тихове лукавцев перевести.

— Кого, кого?

— Лукавцев. Лукавых, значит. Они думают одно, говорят другое, делают третье.

— Ну, таких не переведешь! Таких, как пузырей на болоте.

— В Тихове штук двадцать наберется.

— Начальников, что ли?

— Необязательно.

— Тогда очень мало.

— Это самые опасные. Один в газетку напишет, второй лекцию прочтет, третий по радио выступит, и все взახлеб расхваливают тиховскую жизнь. И город-то наш старинный, можно гордиться, и традиции-то у нас сильны, и хозяйствуем мы самыми передовыми методами — послушаешь их, как яду наешься. Голова сразу тупая, сердце сдавит, и изжога начинается...

— Нервы у тебя барахлят.

— Что ты! От вранья болею. Ладно бы не в Тихове жили и ввали издалека. А то здешние. Есть у нас нечего, кто как изворачивается, хозяйствуем на таком-то черноземе через пень-колоду. Традиций уже никаких, а послушаешь — все замечательно! Ух! Всех бы утопила! Тишенька, давай их переведем.

— Как?!

— Заманим куда-нибудь, свяжем. Мешок на голову — и в пустынь.

— По-моему, ты хочешь вернуть меня в Сибирь. Но уже за казенный счет.

— Тишенька, милый, выдумашь тоже! — У Глафиры Даниловны укоризненной влагой прохватило глаза. Она опять прижалась к Тимофею.

— Одного отвезешь в пустынь, такой же на его место сядет.

— Нет! Не согласна. В Тихове можно их перевести. Вообще — я не знаю. А в Тихове можно. Только взяться как следует.

— Может, мышьяком пойдём их травить, хлорофосом?

— Хотя бы с одного начать. — Глафира Даниловна встала, цветастый полшалок, волнуясь, на груди стянула, щеки разгорелись, глаза горячо посветлели. — Тишенька, надо известить Степана Васюткина.

— Тоже, поди, в женихи набивался?

— Я мечтаю о справедливости. При чем здесь жених, Тишенька? — Глафира Даниловна зябко поежилась, передернула полными плечами, опять засмотрелась вдаль, куда-то за Дубовку, за лес и за поле. — Он муж Гали. Моей подруги. Он ее замучил.

— А-а, помню. Вчера зареванная к тебе приходила. Бьет, что ли?

— Она видеть его не может. От вранья его совсем больной стала. Из-за пустяков ревет. А какая добрая, веселая была! Отравил, замучил, чембец проклятый.

— Пусть выгонит. Раз он такой... Как ты его припечатала?

— Чембец — по-тиховски значит сытый, гладкий, блудливый кот.

— В три шеи пусть гонит этого кобеля.

— Не так все просто, Тиша. У них двое детей, дом, но и теперь тяжело. Он же врет не потому, что отродясь врун и обманщик, а привык. Хуже пьяницы. Ладно бы, соврал только да и думать забыл. Ему же обязательно оправдать вранье надо, вывернуться.

— Никак не ухвачу, про что же он врет-то? Как выворачивается?

— При укрупнениях, например. Дубовку-то он разорял. Все пел, все нахваливал: будете благоденствовать, дорогие земляки, на центральной усадьбе. А на центральной своим негде жить. Разорил, сселил, кто в Тихове осел, кто за тридевять земель подался — только не на центральную. Потом опять пел: ошибка вышла, но надо было действовать. Кто не действует, тот не ошибается. Хоть что-то делать надо, дорогие земляки.

— Лучше бы не так говорил. Раз соврем, два соврем, а там, может, и правды не надо.

— Вот именно. Библиотеки тоже он укрупнял. Из всех деревенских клубов свезли книги в Тихов — так и гниют в подвале, помещения для укрупнения-то нет. А у него одна песня: «В один кулак собрали огромную духовную силу». Она обязательно подгонит строителей. До сих пор что-то не подогнала. Ах, Тиша! Он не только жену, но и другую женщину обманет.

— Тебя, что ли?

— Далось тебе! При чем здесь я? Галя с одной его сударушкой встретилась, и та все-все рассказала. Так, думаешь, что он? Заплакал. Но не от стыда. Я, говорит, чисто и свято потянулся к той женщине. И горько ошибся. И сильно страдаю. «Поверь, Галчонок, — говорит, — это большая душевная травма. И прошу тебя помочь мне. Залечить, зарубцевать, забыть ее».

— Галя твоя, понятно, сердца унять не может. А ты что взъелась?

— Ой, Тиша, ты бы хоть раз его послушал!

— Да? Чтоб уши завяли? Или для развлечения?

— Тогда и ты взъешься.

— Ну конечно! От слов на стенку не полезу.

— Не зарекайся, Тишенька. Сходи, послушай Степу Васютина.

— Как сходи? Он что, с утра до вечера выступает?

— Тренируется каждый день. Вечером потихоньку пройдешь огородами и услышишь. Он за баней тренируется.

— У него что там? Трибуна с микрофонами?

— Увидишь.

По вечерней росе, в длинной густой тени терновника шел Тимофей к васютинской бане и издали еще услышал звучное, красивое рокотание, насыщенное бархатистой усталой убедительностью.

Выглянул из-за угла — по полянке перед баней расхаживал молодой человек. Осанистый, с незначительным, но заметным жирком в плавных линиях тела, со свежим румянцем на щеках и добродушными пышными усами над розовыми полными губами. Он обращался к березовым

и осиновым пенькам, оставшимся от былой рощицы, то ли воображая на этих пеньках слушателей и зрителей, то ли ничего не воображая и обращаясь к пенькам, как к привычным помощникам и собеседникам.

— Дорогие земляки! Горькие новости у меня сегодня. В прошлый раз мы говорили о застойных явлениях в экономике нашего района. Мы убедились с вами, что имеем дело с хронической болезнью: нехватка людских ресурсов, невыполнение планов, необъяснимость существования многих хозяйств. Но, дорогие земляки, в прошлый раз я, признаюсь, был не до конца откровенен с вами — трудно привыкать к настоящей, безоглядной искренности. Все-таки мы слишком долго утаивали друг от друга наши трудности. У меня, дорогие земляки, не хватило в прошлый раз духу сказать вам, что нас ждет тяжелое лето и скорее всего печальная по итогам осень. Перестроиться, ввести в действие все резервы, руководствоваться только здравым смыслом очень трудно, дорогие земляки. Почему я не сказал об этом в прошлый раз? Силен еще во мне бес умолчания. Идешь на встречу с вами, а бес и начинает в тебе копошиться. Вот это скажи, приказывает, а вот про это умолчи, рано еще про это говорить. Не созрел еще народ для такой правды. И сразу этому бесу голову не свернешь.

«Надо взять, — подумал Тимофей. — Мешок на голову — и брать. Три минуты послушал, а будто дыму наглотался. И в горле першит, и глаза ест».

Позже сказал Глафире Даниловне:

— Ну так что мы будем с твоим Васютиным делать?

— Тишенька, согласен? Спасибо! И Галка тебе спасибо скажет, и все люди добрые. Я все-все продумала. Никто и не хватится.

Светлой июньской ночью под переливы соловьев и нежную метель яблоневого цвета прошел Тимофей в васютинский двор, склонился над спящим Степаном — с первого тепла до первого снега спал тот во дворе на раскладушке, закутавшись в старые овчины, и потому еще имел такой замечательный здоровый румянец и крепкую нервную систему.

Васютин тихо, с детской сладостью пошвыстывал во сне. Тимофей расстелил рядом с раскладушкой брезент, перенес на него Васютину, тщательно закутал и увесистый брезентовый куль крепко притянул, примотал веревками к широкой доске. Прислонил доску со Степаном к яблоне, поднырнул, накиннул на плечи мощные брезентовые ремни. Вскинул Степана на спину и вышел со двора.

В проулке, ведущем к реке, ждала его Глафира Даниловна.

— Тяжело, Тиша?

— Уж как-нибудь.

Молча перешли мост через реку, молча углубились в лес, и только когда зачавкало под ногами Большое тиховское болото, Глафира Даниловна сказала:

— След в след теперь ступай. Вправо и влево — трясина.

— А ты как?

— А я знаю. Дед Андрей показал, когда за клюквой ходили.

Долго тянулась тайная тропа. Тимофей уже надсадно хрипел и все тяжелей выдергивал ноги из болотной жижи. Но вот началась сосновая гривка, захрустел под сапогами песок, громко захлопал крыльями заспавшийся глухарь, а тут и на поляну вышли к крепкому бревенчатому дому, куда по зимнику на лошадях забирались лесорубы.

Тимофей прислонил доску с брезентовым кулем к крыльцу, отдышался, подождал, пока отойдет занемевшая спина. Потом отвязал Васютина, освободил от брезента и внес в дом. Уложил на нары — Васютин даже не проснулся. Все так же тоненько, по-детски посвистывал.

Глафира Даниловна тем временем проверила на полках и в ларях запасы муки, крупы, соли, оставшиеся от лесорубов.

— До снега ему хватит. А там привезут.

— А вдруг кто забредет сюда и вызволит его?

— Нет. Кроме деда Андрея, про тропу никто не знает. Раньше зимы Васютина не увидим. Отдохнем. А у него, может, совести прибавится.

В Тихов вернулись розовым росистым утром. Солнце только-только собиралось выглянуть из-за дальних полей. Затопили баню, после болотных трудов и перед трудами дневными нахлестались, напарились до медной, сияющей чистоты. Окатывались во дворе, прямо из колодца. Глафира Даниловна так напарилась, что выскочила на траву прямо с веником. Тимофей засмеялся.

— С веником ты как на картинке. Стоп-стоп. Вот когда я понял. В самом деле я тебя раньше видел. Но вспомнить не мог где. На картинке видел. Вспомнил!

— На картинке ты не меня видел. Или бабушку — ее художник Кустодиев рисовал. Или матушку. А ее выбрал художник Пластов. Мы же все похожие. На бабушку-то я очень похожу.

— Ясно. Может, и на тебя художник найдется?

— Мне и так хорошо. Тишенька, голубчик...

Через некоторое время Глафира Даниловна и Тимофей сидели на крыльце. Опять она мечтательно щурилась, опять у нее щеки разгорались.

— Что-то ты еще разглядела, Глафира Даниловна?

— Ой, Тишенька! Я все про наши Овражные улицы думаю. Такая глина, такая лебеда! А можно цветы, деревья, кусты на склонах посадить. Беседки построить, дороги замостить. Какая бы красота была!

— Одному не справиться, Глафира Даниловна. Десять Овражных в Тихове. Десять жизней на них надо положить. Народ нужен, Глафира Даниловна.

— Будет народ, Тишенька. Будет.

И вскоре родила двойню: двух мальчиков. Через год — двух девочек. Так у них и пошло с Тимофеем — что ни год, то двойня.

И взялся Тимофей с сыновьями да дочерьми за Овражные улицы.

Кто цветы на склонах выращивал, кто канавы копал, кто камни бил, укрепляя склоны.

Вечерами, если лето и нет дождя, собираются в палисаднике, за самоваром. Всем без конца растущим семейством. Зимой — в большой круглой комнате, предусмотрительно пристроенной Тимофеем сразу после первой двойни.

Сидят, беседуют, слушают, понимают друг друга, потому что все их заботы о Тихове, о родных его улицах и дубравах. Иногда Тимофей просит любимую дочку Ольгуню почитать вслух «Записки об уженье рыбы» Сергея Тимофеевича Аксакова. Ольгуня, звонко, радостно выпевая каждое слово, читает, а Тимофей в это время вспоминает все русские земли, которые прошел и устроил.

СОДЕРЖАНИЕ

Очертания родных холмов	3
Три женщины	25
Русская Венера	36

Вячеслав Максимович ШУГАЕВ

ТРИ ЖЕНЩИНЫ

Рассказы

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Т. Е. Авдеева

Сдано в набор 12.05.87. Подписано к печати 17.07.87. А 00400. Формат 70 x 108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учет-
но-изд. л. 4,41. Усл. кр.-отг. 2,98. Тираж 80000. Изд. № 2018. Зак. № 666.
Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени
В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.

● МАСТЕРСКИЕ ПО РЕМОНТУ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ОКАЗЫ-
ВАЮТ НАСЕЛЕНИЮ БОЛЕЕ
50 ВИДОВ УСЛУГ.

Здесь точат коньки,
устанавливают лыжные
крепления, чинят велосипеды,
мясорубки...

Сдавая в ремонт зонт,
не забудьте, что можно
не только починить его
металлические части, но и
заменить верх.

Росбытреклама